РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сборник обзоров и рефератов

(Препринт)

Москва
2013

Редколлегия:
д.полит.н. И.И. Глебова (отв. ред.),
к.и.н. О.В. Большакова, к.и.н. М.М. Минц

Работа выполнена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 13-01-00061.

Россия в Первой мировой войне: новые направления исследований: Сб. обзоров и реф. (Препринт) / Ред. кол.: Глебова И.И. (отв. ред.) и др. – М., 2013. – 241 с.

В сборнике обзоров и рефератов представлены новые интерпретации и подходы отечественных и зарубежных историков к изучению Первой мировой войны в России. Особое внимание уделяется современным направлениям, включающим в себя историю империй, новую культурную историю, изучение памяти о Первой мировой войне.

© Коллектив авторов, 2013
© ИНИОН РАН, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

О юбилейных перспективах и настоящем издании …….5
В поисках утраченной войны: О Первой мировой в российской истории и памяти (Предисловие)…….8
Винтер Дж., Прост А. Великая война в истории: дискуссии и споры, с 1914 года до настоящего времени. (Реферат) ……19
В.М. Шевырин. Россия в Первой мировой войне (Новейшая отечественная историография). (Обзор) ……36
Первая мировая война: Взгляд спустя столетие: Доклады и выступления участников Международной конференции «Первая мировая война и современный мир». (Реферат) ……67
Гатрелл П. Россия в Первой мировой войне: Социально-экономическая история. (Реферат). ……...78
Холквист П. Революция ковалась в войне: Непрерывный кризис в России 1914-1921 гг. (Реферат) ……...93
М.М. Минц. Восточная Европа в Первой мировой войне: Столкновение и распад трёх империй. (Обзор). …….105
Рейнольдс М. Гибель империй: Столкновение и крах Османской и Российской империй, 1908–1918. (Реферат)……126
Санборн Дж. Генезис русского вождизма: Власть и насилие во время Первой мировой и Гражданской войн. (Реферат) …….. 136
Образ врага в сознании русских и немцев в годы Первой мировой войны. (Сводный реферат) ……141

«Внутренний враг» в России в годы Первой мировой войны. (Сводный реферат) …….153
Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. (Реферат) …….166
Коэн А. Воображая невообразимое: Мировая война, современное искусство и политика публичной культуры в России, 1914-1917. (Реферат) ……..180
О.В. Большакова. Первая мировая война в современной англоязычной историографии России: Гендерный аспект. (Обзор) ……188
Нагорная О.С. «Другой военный опыт»: Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922). (Реферат) ……204
Деятельность польских гуманитарных организаций на землях Российской империи в годы Первой мировой войны. (Сводный реферат) ……212
Зумпф А. Ампутированное общество: Возвращение русских инвалидов с Великой войны, 1914–1929. (Реферат) ……222
Петроне К. Память о Первой мировой войне в России. (Реферат) …232

О юбилейных перспективах и настоящем издании

Столетний юбилей Первой мировой войны (2014–2018) широко отмечается в нашей стране. К этой дате ожидается публикация фундаментальных энциклопедических и справочных изданий, в том числе и в Интернете. Это сделает массив современных знаний о Первой мировой войне доступным самому широкому кругу людей. Историки пишут к юбилею статьи и монографии, журналы организуют «круглые столы» и готовят тематические номера. Запланировано огромное количество конференций самого разного масштаба.

Настоящий сборник задуман как часть этой широкой кампании по «возвращению» Первой мировой войны в российскую историографию. Его цель – показать, что происходит с данной темой в мировой исторической науке, в том числе в зарубежной русистике, представить ее сегодняшний историографический контекст. И таким образом предложить отечественным историкам своего рода ориентир в море современного исторического знания, познакомить их с новыми идеями и концепциями.

В сборнике нашли отражение как работы общего характера, написанные в достаточно традиционном русле социальной истории, так и более «передовые» культурологические исследования. Надо сказать, что основной акцент в современных трудах об участии России в Первой мировой войне делается не на военной и не на политической истории, а на истории с «человеческим лицом». Сегодня в круг интересов историков-русистов органично вошли такие темы, как общественные настроения военной эпохи и культурная память о войне. Кроме того, внимание исследователей привлекают социальные группы,

прежде не интересовавшие историческую науку: военнопленные и вернувшиеся с войны инвалиды, беженцы, депортированные.

Все эти темы представлены в настоящем издании. Сборник открывает предисловие, подготовленное И.И.Глебовой, в котором анализируется место Первой мировой войны в культурной памяти России и Западной Европы. Автор размышляет о том, что представляет собой сегодняшнее стремление вернуть Первую мировую в национальную память России (отдать ей «долг памяти»). За предисловием следуют материалы научно-информационного характера. Развернутый реферат книги, посвященной основным направлениям в изучении Великой войны в мировой историографии (автор – М.М. Минц), задает концептуальные рамки для понимания современной ситуации в русистике. Его содержательно дополняет обзор, написанный В.М. Шевыриным, где освещаются те методологические сдвиги в отечественных исследованиях Первой мировой, которые произошли с начала 1990-х гг. Для полноты историографической картины помещен реферат материалов недавней (2011 г.) достаточно представительной конференции о значении Первой мировой войны для современного мира (автор – И.Е. Эман).

Обзорная книга британского историка П.Гатрелла (автор реферата - С.В.Беспалов) освещает социально-экономические аспекты участия России в войне, одновременно помещая ее историю в общеевропейский контекст. Во многом она опирается на концептуальную монографию американца П.Холквиста, изданную в 2002 г. (автор реферата – О.В.Большакова). Разработанная П.Холквистом концепция, в которой Первая мировая война рассматривается в рамках «непрерывного кризиса» 1914-1921 гг., оказала серьезное воздействие на зарубежную русистику (см., в частности, реферат на статью Дж. Санборна, подготовленный М.М.Минцем).

Одному из новейших направлений зарубежной русистики – изучению России как империи – посвящены обзор М.М. Минца «Восточная Европа в Первой мировой войне: Столкновение и распад трёх империй» и реферат С.В.Беспалова на книгу М.Рейнольдса, в которой предлагается новый подход к анализу геополитики.

Образы и репрезентации – еще одно важное направление современных исследований Первой мировой войны. Различные варианты социального и культурно-исторического подходов к изучению этой проблематики на российском материале читатель найдет в рефератах, написанных С.В.Беспаловым, О.В.Большаковой, М.М.Минцем и В.М.Шевыриным.

Такая важная для мировой исторической науки тема, как «жертвы войны» (в первую очередь речь идет о беженцах, военнопленных, инвалидах) нашла отражение в рефератах, подготовленных О.Л.Александри, О.В.Бабенко и О.В.Большаковой.

В обзоре О.В. Большаковой анализируется достаточно недавнее для русистики явление: рассмотрен гендерный аспект современной англоязычной (преимущественно американской) историографии участия России в войне. Нам также кажется важным, что в российской историографии Первой мировой войны появился интерес и к проблематике культурной памяти (см. реферат О.В. Большаковой на книгу К. Петроне). Это свидетельствует о признаках интеграции русистики в мировую историческую науку, в которой темы памяти о войне и ее последствий для общества и культуры занимают в последнее время центральное место.

Конечно, настоящее издание не могло охватить и во всей полноте представить темы, сюжеты, проблемы и подходы, характерные для современной историографии Первой мировой войны. Тем не менее сборник, безусловно, отражает сегодняшнее состояние исторической науки. В ближайшие годы (в том числе в связи с юбилеем) историография военной эпохи вполне предсказуемо пополнится новыми работами. Повторим, ожидается настоящий вал публикаций. Их осмысление и введение в научный оборот – важнейшая историографическая задача, в решении которой примет участие и коллектив сотрудников ИНИОН РАН.

Редколлегия сборника

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ВОЙНЫ: О Первой мировой в российской истории и памяти (Предисловие)

«Забытая война» – так все чаще стали у нас определять последнюю войну Российской империи 1914–1918 гг. в преддверие ее столетнего юбилея. В народе ее называли сначала «германской», потом – «империалистической», а с разворачиванием военного конфликта 1939–1945 гг. она получила имя Первой мировой. Все эти определения верны: они точно указывают, как в разные времена воспринималась у нас та война. Для нынешних россиян Первая мировая – «забытая», «чужая» война. Ее как бы нет в национальной памяти, она не является чем-то важным, тем более установочным для нации.

Для Европы война 1914–1918 гг. стала Великой – конечно, прежде всего для французов и англичан; немцы по-другому воспринимали (и воспринимают) Первую мировую. Однако в целом она превратилась в одно из главных оснований европейских самоопределения и самопонимания. То, что Первая мировая – величайшее событие мировой истории, по существу открывшее XX век, – так по-разному вошла в память европейского и российского обществ, имеет свое объяснение.

Великой в памяти европейцев война 1914–1918 гг. стала потому, что во многом сформировала современную Европу – ее устройство (политическое, социальное и проч.), ее проблемы, ее культуру. К тому же она задала Европе вполне очевидную перспективу: не случайно Вторую мировую многие воспринимали как непосредственное

продолжение Первой. Собственно, во многом из войны 1914–1918 гг. вышел современный европеец.

Повторим: у нас это не так. «Забытая» Первая мировая, к примеру, не сыграла в русской истории (и для русской истории) одной очень важной роли. Она не произвела необходимого, как мы это теперь понимаем, «продукта». А вот в Европе сыграла – причем, как в стане победителей, так и среди поверженных.

Речь идет о культурной и мировоззренческой роли «потерянного поколения». Чтобы далеко не ходить за примерами, сошлемся на прозу Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона, Арагона и др. Если угодно, это поколение «произвело» модальный тип личности западной цивилизации 1920-х годов. Эти люди создали принципиально новую литературу и философию (экзистенциализм, персонализм). И эта литература, и эта философия на протяжении всего XX столетия оказывали (наверное, оказывают и поныне) сильнейшее воздействие на формирование европейского человека.

К нам всё это пришло лишь в 60-е годы прошлого века – но именно пришло: из Европы и Америки. Отсутствие подобного собственного опыта сильно обеднило и нашу культуру, и русскую личность. И даже такая талантливая генерация отечественных литераторов, как аксеновская, в полной мере не сумела восполнить этот пробел. При всем уважении к этой линии шестидесятничества признаем, что это была (в значительной мере) поздняя реплика западного опыта.

Можно сказать, что современная Европа вышла из Первой мировой войны. Современная же Россия – из революции; точнее, серии революций 1917 г. и Гражданской войны, а также социального переворота 1930-х годов[1]. Вполне понятные усталость от войны, напряженное ожидание ее окончания разрядились у нас в Февральской революции, по существу поставившей точку в той исторической драме. Февраль как бы подменил собой победу; точнее, общество,

[1] Впрочем, и Россия вышла из Первой мировой – только в другом значении этого слова. Вышла, как выходят из поезда или трамвая на ходу, не дотерпев до остановки. Подобные выходы, как правило, заканчиваются трагедией.

народ разменяли победу в войне на революцию. С февраля 1917 г. главной темой для России стала сама Россия, а не мировой конфликт; страна переключилась на внутренние проблемы. Они перекрыли собой влияние войны; масштаб и воздействие событий 1917–1939 гг. оказались неизмеримо выше.

Революции 1917 г. выбросили Россию из стана победителей; несостоявшиеся победители ушли в Гражданскую войну. Окончательно же тему Первой мировой закрыла для нас Победа 1945 г. Это был своего рода реванш за недавнюю (менее 30 лет прошло) военную «неудачу», пик нашего самоутверждения в истории. Русские почувствовали себя и главными революционерами, и главными победителями – вообще, главными деятелями XX в. Потому именно 1945 год окончательно сделал их советскими, смирил с советским. 9 мая 1945 г. – установочная для советского человека дата, сделавшая малосущественным весь прежний опыт.

Тот факт, что в современной России стали говорить о Первой мировой как о «забытой» войне, свидетельствует о стремлении вернуть ее в культурную память общества. И это тоже объяснимо. Возрождение памяти происходит на волне общего подъема интереса к военной истории. Ее двигатель – тема Победы в Великой Отечественной войне. Именно на этом событии строятся самопонимание и самоидентификация российского общества, в нем оно находит себе оправдание, источник жизненных сил.

Так сложилось, что в России каждое новое поколение конституируется через войну – память о прошлой великой Победе и ожидание будущего столкновения с внешним врагом. В XIX в. точкой отсчета была Отечественная 1812 г., в 1920–1930-е годы жили воспоминаниями о революции/Гражданской и предчувствием мировой. Послевоенные поколения самоопределялись через войны Отечественную и холодную. Новизна настоящего момента – в том, что у общества нет исторически близкой «своей» войны (афганская, чеченская и т.п. на эту роль не подходят) и реальной (а не имитационной, не замещающей) нацеленности на будущее военное противостояние. Поэтому основой нашего самоопределения может быть и является теперь только Отечественная. Это наша Великая война

– как Первая мировая для европейцев.

В определенном смысле война 1914–1918 гг. призвана составить в памяти россиян фон для Великой Отечественной – служить для нее резонатором, усиливая ее величие, ее победный блеск. Для нее самой это шанс на «улучшение»: подпитавшись энергетикой победной Отечественной, она может стать, наконец, для России «своей» войной. Сейчас для этого очень подходящий момент. Возрождением памяти о Первой мировой как бы восстанавливается связь не только двух глобальных войн XX в., но и советской истории – с дореволюционной. Через мировые войны, рассмотренные в основном в победно-парадной логике, можно протягивать связующие нити и дальше в прошлое: к Отечественной 1812 г., ко всем воспоминаниям о доблести и славе русского оружия, пробуждающим в россиянах восторг и гордость за себя. Тем самым реализуется популярная в наши дни идея исторического синтеза, обеспечиваются целостность и непрерывность российской истории.

Правда, при такой реализации и таком обеспечении возникают разного рода казусы, исторические недоразумения. У нас, к примеру, до сих пор остается невыясненным вопрос: когда для России закончилась Первая мировая война? Сегодня вполне зримой стала тенденция назначить ее русским финалом Брестский мир. Это, собственно говоря, советская точка зрения, давно нам известная. Однако в новом историческом контексте и она становится неожиданно новой.

Теперь Первая мировая в нашей памяти – уже не империалистическая по преимуществу, а отчасти даже и Отечественная (кстати, так и называли ее в 1914 и 1915 гг. патриотически настроенные публицисты). Конечно, реабилитация войны 1914–1918 гг. (ее трактовка как очередного исторического подвига России) вступает в логическое противоречие с попыткой «завершить» ее Брестским миром, «позорным и похабным» (Ленин). Но в том-то все и дело, что такая комбинация совершенно соответствует нынешнему типу исторического самоопределения российской власти и ее идеологов. Этот тип сознания не боится никаких противоречий (в том числе и моральных). Ведь если бы

правящий режим признал выход из войны и тот мир действительно «позорным и похабным», то из этого неизбежно вытекал бы ценностный пересмотр начального этапа существования советской власти (ее рождения и мужания). А вслед за этим – и всего советского.

Тогда пришлось бы признать, что СССР вырос из беспрецедентной (как для нашего Отечества, так, наверное, и для всех стран мира) национальной измены. За то, чтобы сохранить свою власть и развязать Гражданскую войну, большевики не только пожертвовали огромными пространствами и многочисленным населением, но и перечеркнули жертвы и подвиг русского народа, действительно достойно сражавшегося на фронтах мировой. Брестским миром они спасали не Россию, а свою революцию. За это их вождь, 90-летие смерти которого ознаменовалось линией на реабилитацию (восстановлением его исторического величия, возвращением в общественную память как положительного символа революционного, партийного, советского), готов был сдать Петроград, отступить за Урал. Совсем как в 1812 г. Александр I – во имя спасения России.

Государство, неважно по каким причинам назвавшее себя правопреемником СССР, и общество, всеми своими нитями связанное с советским, открывающее мемориальные доски в честь Брежнева и Андропова и тоскующее по Сталину, никогда – в обозримое время – не признают ни факта этой национальной измены, ни преступности советского режима. Отсюда и непрямое, но совершенно очевидное оправдание Брестского мира. Надо сказать, даже «отец» этого мирного договора Ленин относится к нему определеннее и прямее (по-своему, разумеется).

Первая мировая для России – не проигранная, а незавершенная война, причем обидно незавершенная: она должна была, но не успела окончиться победой. Военные события 28 июля 1914 – 3 марта (ст. ст.) 1917 г. никогда не порождали необходимости капитуляции или переговоров типа Брест-Литовских. Россия не просто не могла проиграть войну в начале 1917 г. – в военном отношении она была готова к победе. Это понимали руководство армии и ее верховный главнокомандующий – именно желанием победно завершить почти трехлетнюю военную эпопею во многом объяснялось отречение.

По существу, «слабый и безответственный» Николай II пытался разменять корону на победу, себя на Россию – об этом свидетельствует его последнее обращение к войскам. Чтобы победить, нужно было продолжать войну, но это оказалось невозможно по внутренним причинам. Россия царская, не потерпев военного поражения, пала; ее падение «закрыло» победную перспективу. Военные неудачи 1917 г. и Брестский мир – дела России революционной. Это не доигрывание Первой мировой (Россия тогда уже перестала быть воюющей державой), но разворачивание Гражданской. Брест принадлежит другой войне; он возможен и понятен только в контексте внутреннего социального противостояния.

Конечно, Первая мировая война интересна и российскому правящему классу, и российскому обществу не только как дополнительное воспоминание, своего рода поддержка памяти о главном: Победе в Великой Отечественной. Сейчас, как никогда, актуальны темы столетней давности, непосредственно связанные с войной 1914–1918 гг.: распад империи, отношения власти и общества, синдром врага (внешнего и внутреннего), механизм революции, отношения Европы и России. Сквозь призму опыта Первой мировой эти сегодняшние проблемы видятся иначе, приобретают особый – исторический – смысл.

«Забытая» нами война – вполне современное событие. Не древности и давности, а уже наша автобиография. Причем это событие для нас в той же мере установочное, что и для Европы. В войне 1914–1918 гг. интенсифицировался процесс перемола традиционно-патриархальной социальности, рождалось современное – т.е. массовое – российское общество. Первая мировая окунула русского человека в экстремальный опыт выживания и насилия, с которым он не мог развязаться почти весь XX век. В ней сложился тот человеческий тип (или человеческие типы), который стал модальным для раннесоветского мира: «помазанный» войной, нацеленный на воспроизводство новых – массовидных, технизированных, анонимных, чрезвычайных – социальных форм, управленческих технологий. Этот человек строил социализм и разрушал прежнюю общественную жизнь, воевал, умирал, побеждал, восстанавливал. Он создал

современную страну, поэтому наша связь с ним до сих пор неразрывна.

В этом и во многих других отношениях Первая мировая – история для современного человека: она позволяет понять мир, в котором мы живем. Переживание таких историй и делает русского русским, давая ощущение принадлежности к этому пространству, традициям, культуре. Однако, возрождая это событие в памяти, важно не совершать старых ошибок, уже искажавших наши воспоминания.

Война 1914–1918 гг. – первый для России в XX в. опыт мирового противостояния и сотрудничества. Было бы непростительным упрощением превратить Первую мировую войну только в «свою» – событие исключительно национальной истории. Напротив, она дает нам основание для интеграции в единое европейское пространство памяти, истории, культуры («евроинтеграции»). Нельзя закрыться и от многих «внутренних» смыслов Первой мировой, сведя ее к одному, сейчас модному: «Гром победы, раздавайся!».

В понимании той войны во всей ее сложности – ключ к осмыслению революции, «родившей» СССР. Но именно советский опыт является препятствием для такого понимания. До сих пор наша память (в значительной мере и наша наука) находится в плену того представления о войне 1914–1918 гг., которое сложилось в советское время. Историческая легитимация советской власти требовала решения большой задачи: опорочить царизм, весь дореволюционный строй русской жизни. Официальный взгляд на Первую мировую (а другого, напомню, не было) был подчинен этой задаче. Он базировался на презумпции неизбежности (исторической закономерности) военного поражения, которое подтверждало недееспособность, бессилие, разложение царской России. Такой взгляд, ставший одним из оснований мировоззрения советского (и постсоветского) человека, препятствует познанию войны, ее интеграции в национальную память. Он должен быть и неизбежно будет пересмотрен.

И тогда у нас появятся совсем иные, чем раньше, вопросы к Первой мировой. К примеру: чем так непохожа была она на Отечественную 1941–1945 гг. – почему не стала для России священной войной, почему Победа в ней не превратилась в национальную задачу?

Иначе говоря, почему «военноотечественные» смыслы не стали для Первой мировой определяющими, сдали позиции смыслам революционным? Только ответив на этот вопрос, мы поймем, каково место войны в нашей истории. А оно, повторим, вовсе не проигрышное, как мы его традиционно понимали.

Первая мировая была вытеснена на периферию российской памяти как историческая «неудача» (так она воспринималась и воспринимается теперь): не завершившись, подобно войне 1941–1945 гг., убедительной и блестящей победой, она выглядела как цепь ошибок, неудач, поражений, предательств и т.п. Нам долго казалось: здесь нечем гордиться. Конечно, Первая мировая не соизмерима со Второй – для нас Отечественной. Она не подчинила себе всю жизнь страны и все жизни, не заставила наших людей пойти на подвиг, стоять насмерть, забыв о цене побед и поражений. В ней не шла речь о жизни и смерти народа, о самом его существовании в истории. Поэтому Первая мировая – при всей ее трагичности (а такова любая война), убийственной технологичности (это первая война новой – индустриальной – эпохи, нормализовавшая практику массового анонимного убийства) – оказалась для России просто войной, не более и не менее.

Для нас она гораздо важнее не в военном, а в социальном отношении, так как ввергла Россию – вместе со всей Европой – в чрезвычайно сложный и трагический процесс. Первая мировая разожгла пламя европейской гражданской (внутренней, социальной) войны, которая раньше всего вспыхнула в России. В одних странах эта гражданская война привела к установлению идеократических диктатур, в других – к обострению классовой борьбы, которую все-таки удалось купировать. Но для этого понадобилась выработка принципиально новых мировоззренческих, социальных, организационных технологий. И в этом смысле странный, казалось бы, призыв Ленина: превратить войну империалистическую в войну гражданскую – имел под собой реальную основу. Ленин по-своему и преследуя собственные, весьма определенные цели, как это нередко у него бывало, верно уловил одну из главных тенденций социального развития, которую принесла Первая мировая.

По всем внешним показателям это была война национальных государств и национальных культур. В первые ее дни классовое замирение произошло абсолютно во всех странах-участницах, включая Россию. Но затяжной, крайне изнурительный характер войны, к которому оказались психологически не готовы не только будущие побежденные, но и будущие победители, во многом разрушил культурно-цивилизационную оболочку человека, обнажив в нем архаичные инстинкты войны всех против всех. Это и был переход к гражданской войне в общеевропейском масштабе.

Побежденные – немцы и русские – вышли из нее, повторю, через установление крайне жестких диктатур. Победители – французы и англичане – на протяжении межвоенных десятилетий с помощью тех самых новых технологий пытались восстановить у себя социально-психологическое равновесие. Оно, однако, оказалось зыбким в обеих сферах – и в социальной, и в психологической. Под покровом мира царили смута, растерянность, потерянность. В том числе и этим объясняется, к примеру, полная неготовность французов ко Второй мировой[2].

Известно, что межвоенный период стал самым серьезным испытанием для западной либерально-плюралистической цивилизации: целый ряд ее фундаментальных принципов был поставлен под вопрос. Выскажу предположение: великий экономический кризис 1929–1933 гг., как океанический тайфун прошедший по США и Европе, имел своими причинами не только экономические противоречия и болезни, но и психологические.

[2] Р. Арон, известный французский социолог и политический мыслитель, говорил: «Тридцатые годы я прожил, обуреваемый чувством горечи от сознания того, что Франция приходила в упадок. Мне казалось, что она погружается в небытие. Уже нельзя было не предчувствовать грозящей ей военной катастрофы… Я остро, с глубокой грустью переживал этот упадок и был одержим одной мыслью – избежать гражданской войны… Многие окружавшие меня французы отдавали себе отчет в нашем упадке… Я… никогда не испытывал… чувства исторической, если можно так выразиться, горечи. Ибо после 1945 г. Франция преобразилась» (Арон Р. Пристрастный зритель. – М.: Праксис, 2006. – С. 89–90).

Принято считать, что в ходе и после окончания этого кризиса значительная часть западного общества впала в психологическую депрессию. Думаю, такая депрессия была не только следствием, но и, повторю, его причиной. Вот еще один глобальный результат Первой мировой. В целом Европа покончила с гражданской войной только в следующей мировой.

Вообще, ситуацию 1914–1945 гг. можно в некотором отношении уподобить Тридцатилетней войне XVII в. (1618–1648). Из той мировой вышел новый порядок – nation state: в Европе совершился переход от религиозной идентичности к государственно-политической. В результате 30-летней войны XX в. (1914–1945) перешли от национально-классовой и социально-дифференцированной идентичности (от nation state и классовой дифференциации общества) к наднационально-гуманистической и социально-примирительной. В этом значение событий, которые произошли в мире (прежде всего в Европе) в середине XX столетия.

Надо сказать, что Россия оказалась вне этих трансформаций. Впрочем, как и всегда. В первую 30-летнюю войну она отметилась неудачной осадой Смоленска (1632–1634) и вполне эффективной помощью протестантским государствам – прежде всего Дании, которая получала от нас зерно по сниженным ценам (как сегодня получают газ Украина и Белоруссия). И в 30-летней войне XX в. у России совершенно особое место, ничем не похожее на ситуацию XVII столетия. Гражданская война XX в., казалось бы, расставила шахматные фигуры так, что СССР–Германия оказались на одной стороне. Однако именно России–СССР суждено было сыграть решающую роль в уничтожении главного зачинщика европейской войны – Германии и закончить гражданскую свару Европы. Россия уничтожила силы европейской социально-гражданской деструкции и, как оказалось в перспективе, обеспечила победу силам социального консенсуса/согласия.

Взгляд на Первую мировую войну с точки зрения общеевропейских результатов/последствий, вероятно, и должен стать определяющим для ее изучения. Прежде всего у нас, в России. В этом ракурсе иначе выглядят и сама война, и советская история.

Что же касается возрождения в современной России памяти о войне 1914–1918 гг., то об этом необходимо сказать следующее. Кажется, таким образом мы (мы: это общество, власть – вместе, помогая друг другу) пытаемся нейтрализовать и заместить воспоминания о революции 1917 г. Они были установочными для «старой» (советской) системы, но в нашем «новом» мире оказались не обязательными, ненужными, излишними. Когда-то революция вытеснила из нашей памяти Первую мировую войну, – теперь, почти через столетие, происходит обратный процесс.

Революция для нынешних россиян (и для «управляющих», и для «управляемых») – это проблема, с которой мы не хотим и не можем разбираться. Именно потому, что ответив на вопрос: «чем была русская революция?», мы со всей определенностью скажем, «кто мы». В современной России и такие вопросы, пугающие своей серьезностью, и ответы на них не актуальны. Она бежит от проблем и сложностей, от определенностей – и в отношении прошлого, и в отношении будущего. Имеет значение только настоящее – как бытовое обустройство, текучка, сиюминутность.

«Зоной побега» становится теперь и Первая мировая. Ее приемлемыми образами может быть перекрыта революция, замаскирован смысл этого главного события русской истории XX в. Попытка инкорпорировать войну 1914–1918 гг. в исторический фундамент легитимности нынешнего режима и национальной идентичности определена, на наш взгляд, именно этой логикой.

И.И. Глебова

ВИНТЕР ДЖ., ПРОСТ А.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ: ДИСКУССИИ И СПОРЫ, С 1914 Г. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

WINTER J., PROST A.

THE GREAT WAR IN HISTORY: DEBATES AND CONTROVERSIES, 1914 TO THE PRESENT.
– Cambridge etc.: Cambridge univ. press., 2005. – VIII, 250 p.
(Реферат)

В общем ряду исторических дисциплин военная история, тесно связанная с историей техники, а также с военной наукой (анализ опыта прошлых войн как один из источников для дальнейшего развития военного искусства, наряду с теоретическими изысканиями на основе анализа современной ситуации), занимает несколько обособленное положение. Тем не менее эта область в последние годы довольно активно осваивается специалистами по социальной и культурной истории, изучающими не только социокультурные аспекты самих вооружённых конфликтов, но и влияние таких конфликтов на общество и культуру вовлечённых в них стран. Результаты подобных исследований представлены, в частности, в издаваемой в Кембридже серии «Труды по социальной и культурной истории современной войны» (“Studies in the social and cultural history of modern warfare”), в рамках которой опубликована и реферируемая монография Джея

Винтера (Йельский университет, США) и Антуана Проста (Университет Париж-1), посвящённая историографии и, шире, исторической памяти о Первой мировой войне. Структура книги выстроена по тематическому принципу и состоит из введения и девяти глав, в семи из которых рассматриваются различные аспекты глобального конфликта 1914–1918 гг. в представлениях трёх поколений историков, литераторов и кинематографистов, главным образом немецких, французских и британских. Авторы анализируют не только исследования по военной истории и истории дипломатии, но и различные социальные и культурные интерпретации описываемых событий.

Как отмечается во введении, за десятилетия, прошедшие с момента окончания Первой мировой войны, в мире изданы десятки тысяч посвящённых ей работ – научных, популярных и публицистических; даже для того, чтобы всего лишь прочитать эти тексты, не хватит человеческой жизни. В то же время серьёзных историографических исследований с целью как-то систематизировать этот корпус литературы, выявить основные направления, школы, тенденции развития, до сих пор не предпринималось. Именно это и составляет основную цель работы Дж. Винтера и А. Проста.

В книге рассматривается историография событий 1914–1918 гг., хода Первой мировой войны и её непосредственных последствий. Авторы анализируют главным образом франко- и англоязычную литературу, а также немецкую и некоторые итальянские работы. За рамками исследования остались исторические школы стран, возникших на месте Австро-Венгерской империи, российская историография, а также исторические изыскания в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Чтобы глубже понять изучаемую проблематику, авторы не ограничиваются трудами профессиональных историков (хотя и отдают им предпочтение) и привлекают также работы, написанные в рамках других научных дисциплин, мемуарную литературу и, наконец, любительские исследования. Поскольку «в большинстве книг с заглавием „история войны“ обычно рассматриваются её политические, дипломатические или собственно военные аспекты» (с. 3), они

анализируют не только специальные работы, посвящённые Первой мировой войне, но и сочинения с более широким тематическим и хронологическим охватом, в которых затрагиваются интересующие их вопросы. Особое внимание в монографии уделяется сравнительному анализу национальных историографических традиций. В предисловии к английскому изданию авторы отмечают, что история Первой мировой войны «целиком и полностью многонациональна и многоязычна, и тем не менее учёные по-прежнему отделены друг от друга не только языковыми барьерами», но и более глубокими различиями в теоретических концепциях и методологических подходах (с. VII). В своей книге они попытались преодолеть, хотя бы частично, это разделение.

***

Первые попытки осмыслить феномен Первой мировой войны были предприняты ещё до того, как замолчали пушки. Эта работа продолжилась и после окончания боевых действий. Фактически до начала 1960-х годов историей конфликта занимались главным образом очень немногочисленные профессиональные учёные. В методологическом отношении этот период характеризуется тем, что история войны изучалась по преимуществу «сверху», исследователей интересовали прежде всего политические, дипломатические и стратегические вопросы. Социальная и экономическая история, не говоря уже о культурной истории и истории повседневности, оставались вне их поля зрения; в качестве исключения, подтверждающего правило, авторы указывают на книгу Э. Халеви «Мировой кризис 1914–1918 гг., интерпретация»[3]. Огромный пласт солдатских воспоминаний и дневников, наиболее активно публиковавшихся в первые годы после окончания войны и в 1928–1934 гг., также не привлёк внимания профессиональных историков, поскольку ценность этих произведений для науки ещё не была

[3]Halévy E. The world crisis of 1914–1918, an interpretation. – Oxford: Clarendon press, 1930.

осознана. Единственной попыткой их источниковедческого анализа стала работа Ж.Н. Крю «Свидетели»[4], однако идеи автора не нашли понимания у его коллег, в чьих книгах по-прежнему речь шла «о войне в большей степени, нежели о воинах» (с. 15).

Ситуация начала меняться на рубеже 1950-х – 1960-х годов. Тому было несколько причин, среди которых – опыт Второй мировой войны и последующих вооружённых конфликтов, расширение круга доступных источников (в 1960-е годы были, в частности, открыты военные архивы в связи с истечением 50-летнего срока секретности) и численный рост образованных слоёв населения, следствием которого было, с одной стороны, скачкообразное увеличение количества профессиональных историков и, с другой стороны, не менее резкий рост интереса к истории среди читающей публики. Поскольку история, таким образом, стала пользоваться спросом, появился обширный рынок научно-популярных произведений, включая не только книги, но и, к примеру, телепередачи. Все эти факторы в совокупности, а также заметное в то время марксистское влияние, способствовали значительным изменениям как в исследуемой проблематике, так и в методологии. Доминирующими направлениями стали социальная и экономическая история Первой мировой войны, а одним из центральных вопросов историографии – взаимосвязь между войной и революцией (в Германии – также роль прусского империализма и милитаризма в генезисе нацистского движения), тогда как в 1920-е – 1930-е годы наиболее болезненным был вопрос о виновниках войны. Дипломатическая история отодвинулась на второй план и, кроме того, тоже пережила определённую смену парадигм: если в предшествующий период исследователей интересовали прежде всего истоки конфликта, то теперь большее внимание уделялось изучению целей воюющих держав и шире – тех явных и скрытых мотивов, которыми руководствовались отдельные политики, ответственные за развязывание войны. Это не отменяло исследований в области собственно военной истории, но образ Первой мировой войны в целом сделался гораздо более сбалансированным и более многогранным.

[4]Cru J.N. Témoins. – P.: Les Etincelles, 1929.

Следующая смена парадигм произошла на рубеже 1980-х – 1990-х годов, причём исключительно быстро и без сопутствующей смены поколений учёных, как в предыдущем случае. Авторы считают её началом современного этапа в развитии историографии Первой мировой войны, на котором центральным направлением исследований стала культурная история. Причинами такого сдвига были крушение коммунистических режимов, приведшее к разочарованию в марксизме в целом с его преимущественным интересом к социально-экономической сфере, и тот исторический опыт, который был накоплен человечеством на протяжении XX столетия и породил новые «вопросы» к прошлому. Если в 1920-е – 1930-е годы Первая мировая рассматривалась как последняя война, а в 60-е – уже как первый этап своеобразной новой Тридцатилетней войны, то для поколения 90-х годов она стала в определённом смысле началом и фундаментом «короткого» XX века с его беспрецедентной жестокостью, первым шагом на пути к Холокосту и преступлениям сталинского режима. Нарастающая глобализация порождает кризис идентичности, что, в свою очередь, стимулирует широкий интерес к исторической памяти – не только национальной, но и семейной. Авторы отмечают также, что для новых поколений, живущих в относительно благополучном обществе потребления, опыт участников и современников войны 1914–1918 гг. во многом является уже чем-то чужеродным и непостижимым. В этих условиях интересы исследователей сместились к таким новым областям, как история искусства, науки, медицины, литературы, включая вопрос о том, какое влияние на эти сферы оказала война. Активно изучается история повседневности, предметом исследования стали представления, чувства, эмоции людей, вынесших на себе тяготы войны. Выходят новые работы и по дипломатической, военной, социальной и экономической истории Первой мировой войны, но теперь в изучении этой проблематики также учитывается культурный фактор.

***

Основная часть книги (главы 2–8) посвящена эволюции отдельных предметных областей в историографии Первой мировой войны. Материал излагается в той очерёдности, в которой происходила смена акцентов при переходе от одной исследовательской парадигмы к другой: сначала дипломатическая история (глава 2) и военная история, точнее, её раздел, посвящённый процессам, протекавшим на оперативно-стратегическом уровне (глава 3), важнейшие направления исследований в 1920-е – 1930-е годы, затем история окопной войны (глава 4), военной экономики (глава 5) и рабочего класса (глава 6), выдвинувшиеся на первый план в 1960-е годы, и, наконец, исследования процессов, протекавших в тылу (глава 7), а также исторической памяти (глава 8) – наиболее перспективные направления с точки зрения современной парадигмы.

В дискуссиях 1920-х – 1930-х годов о политической истории Первой мировой войны центральным был вопрос об ответственности за развязывание конфликта. Статья 231 Версальского договора возлагала на Германию и её союзников ответственность за ущерб, понесённый в ходе войны странами Антанты, что часто воспринималось (и самими немцами, и их недавними противниками) как попытка объявить Германию виновником войны в целом, что для немцев было категорически неприемлемо. Некоторые из английских и французских историков со временем также вынуждены были признать, что и страны Антанты несут свою долю ответственности за то, что июльский политический кризис 1914 г. закончился войной (Россия поторопилась с объявлением всеобщей мобилизации, Великобритания не обозначила заранее и максимально отчётливо свою позицию относительно нейтралитета Бельгии и т. д.). Эта тенденция обозначилась уже в 1930-е годы.

Хотя споры об истоках Первой мировой войны и отличались тогда заметной политизированностью, историки предпринимали попытки преодолеть эту ситуацию. Их задача отчасти облегчалась тем обстоятельством, что сама война уже закончилась и хотя бы в какой-то мере перестала быть вопросом текущей политики – в отличие, скажем, от Версальской системы. Многие французские историки стремились кроме того разграничить те вопросы, для исследования которых в их

распоряжении уже имелась достаточная документальная база, и те, которые приходилось признать неразрешимыми за недостатком источников. Американские историки чувствовали себя свободнее, чем их европейские коллеги, и старались рассматривать историю войны 1914–1918 гг. с позиций третьей стороны.

В 1960-е – 1980-е годы круг исследуемых проблем и используемых источников значительно расширился, дипломатическая история кризиса 1914 г. и Первой мировой войны трансформировалась в более многоаспектную историю международных отношений, были предприняты попытки рассмотреть не только непосредственные причины конфликта, но и более глубинные факторы, включая экономические и внутриполитические. К этому добавился вопрос о взаимосвязи между Первой и Второй мировыми войнами. Позже, уже в рамках культурной истории, стали изучаться культурные истоки европейского конфликта, включая представления, предубеждения, стереотипы и системы ценностей, бытовавшие в различных странах в начале XX в., как в политических кругах, так и среди простых граждан. Любопытно, что Первая мировая война в представлении историков и их читателей трансформировалась таким образом из преступления (понятие, подразумевающее необходимость найти и наказать виновника) в трагическую ошибку, причины которой требуется уяснить. «В этом историографическом контексте, – отмечают авторы, – мы вновь наблюдаем бесконечный диалог между свободой и необходимостью в делах человеческих» (с. 57).

В историографии боевых действий, стратегического управления, отношений между политическим и военным руководством в годы Первой мировой войны авторы выделяют три этапа. В межвоенный («героический») период боевые действия рассматривались в основном в категориях XIX столетия. На этой стадии изучение военной истории носило отчётливо национальный характер, серьёзных попыток проанализировать ход войны в целом ещё не было, преобладающим жанром оставались официальные истории отдельных стран (армий) или соединений. Определённое внимание уделялось также истории крупнейших сражений и операций 1914–1918 гг., но и в таких работах речь шла в основном о действиях армии той страны, в которой жил

автор; даже действия союзников в той же операции рассматривались вскользь.

В 1960-е – 1970-е годы значительно расширился доступ к архивам, а в исторической науке участников войны сменило новое поколение исследователей. На данном этапе на первый план выдвинулся вопрос о действиях командования в непривычных условиях индустриальной войны. В этот же период вышла, в частности, и монография Н. Стоуна «Восточный фронт»[5] – первое крупное исследование участия России в Первой мировой войне. В 1980-е – 1990-е годы, когда доминирующим направлением стала культурная история, специалистам по «традиционной» военно-исторической проблематике, по-прежнему занимающим относительно обособленное положение в научном сообществе, в некотором смысле пришлось доказывать, что интересующие их вопросы всё ещё сохраняют свою актуальность. Военная история стала даже более политизированной, чем в предшествующий период, а национальные школы остаются всё такими же разобщёнными. Представители данного направления отличаются изрядным консерватизмом, что сказывается и на качестве их работ, в которых до сих пор преобладает тенденция к изолированному рассмотрению отдельных командиров или армий. Как следствие, даже анализ боевых действий оказывается однобоким, поскольку в действительности война – это всегда двусторонний процесс. «Интернациональной истории сражений, – заключают авторы, – в которых участвуют люди по обе стороны фронта, сталкивающиеся с проблемами и затруднениями одного и того же рода, ещё предстоит быть написанной» (с. 81).

Повседневный опыт простых солдат в межвоенный период практически не изучался профессиональными историками – главным образом из методологических соображений, поскольку научная история в те годы ещё ассоциировалась прежде всего с изучением макроисторических процессов. Тем самым одно из важнейших отличий Первой мировой от предшествующих войн – её массовый характер – по сути осталось вне поля зрения исследователей.

[5]Stone N. The Eastern Front, 1914–1917. – N. Y.: Scribner, 1975.

В широких читательских кругах существовал запрос, и довольно сильный, на информацию такого рода – современников, не принимавших непосредственного участия в боях, интересовало, «как это было» и «как это выглядело», – но этот запрос удовлетворялся обширной мемуарной и художественной литературой; профессиональные исторические труды интереса не вызывали.

Предметом научного анализа индивидуальный фронтовой опыт участников Первой мировой войны стал в 1970-е годы в Великобритании и в 1980-е во Франции. Такие исследования были тесно связаны с социальной историей – изучалось, к примеру, влияние культуры рабочего класса на поведение солдат на фронте; в рамках этого направления был написан, в частности, двухтомник А. Уайлдмена «Конец русской царской армии»[6]. Для английских исследователей характерно особое внимание к проблеме жестокости на войне, тогда как во французской историографии, особенно с начала 2000-х годов, активно обсуждается вопрос о мотивации солдат, о соотношении согласия и принуждения. Любопытно, что начало этих изменений совпало по времени с приходом в профессию молодых историков, не принимавших участия в мировых войнах, и с нарастающей в Европе тенденцией к неприятию насилия, в т. ч. и повседневного. Новым поколениям европейцев стало труднее понимать реалии начала XX в. Изучение социальной и культурной истории войны 1914–1918 гг. продолжается и в настоящее время; авторов, однако, беспокоит то обстоятельство, что учёные, занимающиеся этими вопросами, часто тяготеют к широким обобщениям, хотя в действительности повседневность окопной войны отличалась значительным разнообразием.

В изучении экономической истории Первой мировой войны также можно выделить три этапа. В межвоенный период исследовалась главным образом экономическая политика воюющих держав. При этом ключевое значение в объяснении хода и результатов глобального противоборства придавалось собственно военному

[6]Wildman A. The end of Russian Imperial Army. – Princeton: Princeton univ. press, 1980. – Vol. I: The old army and the soldiers' revolt (March–April 1917); Vol. II: The road to Soviet power and peace.

фактору, так что экономическая история играла скорее вспомогательную роль. Любопытно, что и занимались ею в это время в основном экономисты, а не историки. Опыт 1914–1918 гг. был использован в развитии экономической теории и экономической политики в 1920-е – 1930-е годы, в т. ч. при разработке планов экономической мобилизации в преддверии Второй мировой войны.

В 1960-е – 1970-е годы фокус переместился на отношения между деловыми кругами, наукой, государством и военными, иными словами, на формирование и функционирование того, что позже будет названо военно-промышленным комплексом. Именно в этот период экономический фактор начал рассматриваться как одна из решающих причин поражения Центральных держав. Для последних же десятилетий характерен многоаспектный анализ экономики противоборствующих сторон, объединяющий предыдущие два подхода. Открытым остаётся вопрос о соотношении между негативными и позитивными последствиями глобального конфликта для мировой экономики, а также об экономических причинах победы стран Антанты.

Историографии рабочего класса авторы посвящают самостоятельную – шестую – главу своего труда, отдельно от следующей за нею седьмой главы, где рассматривается историография гражданского населения в целом. История рабочего вопроса тесно связана с историей революционного движения, а значит, и с проблемой взаимосвязи между войной и революциями в России и ряде европейских стран, поэтому данной проблематике посвящён самостоятельный и довольно обширный круг литературы. Этот раздел историографии Первой мировой войны развивался несколько иначе, чем другие. Вплоть до середины 1960-х годов доминирующим подходом был политический (история рабочего движения). Ситуацию не изменило даже распространение марксистских идей после окончания Второй мировой войны, поскольку их приверженцы так же, как и их предшественники, больше внимания уделяли политической истории и истории идеологии, а не экономике и социальным процессам. Социальный подход, т. е. собственно история рабочего класса в точном смысле слова, выдвинулся на первый план довольно

поздно, а в 1990-е годы разочарование в коммунистической идее, последовавшее за крушением советского блока, вкупе с кардинальными переменами в структуре западных обществ на переходе от индустриальной эпохи к постиндустриальной, привели к свёртыванию исследований по истории рабочих, так что культурно-историческая парадигма в данной области представлена пока лишь весьма поверхностно и фрагментарно.

Что касается истории тыла в целом, то на протяжении 1920-х – 1930-х годов она вызывала среди исследователей лишь весьма ограниченный интерес и занимала второстепенное положение по сравнению с историей событий на фронте. Наиболее активно изучалась внутренняя политика воюющих держав: мобилизация, пропаганда, снабжение продовольствием и т. д. После того, как в 1960-е годы возобладал социологический подход, основным предметом исследования стало влияние войны на социальные конфликты, кульминацией которых стали революции в Германии, Австро-Венгрии, России и Турции.

В 1980-е годы произошёл переход к культурно-исторической парадигме, как и в других разделах историографии Первой мировой войны, и кроме того завершилось отмежевание культурной истории, как дисциплины, изучающей представления и практики широких слоёв населения, от интеллектуальной истории, сфокусированной главным образом на элитарной культуре. В современных исследованиях по истории тыла в 1914–1918 гг. авторы выделяют два основных направления: исследования материальной культуры, т. е. условий и способов выживания в экстремальной обстановке тех лет, и работы, посвящённые т. н. культуре войны. Последнее понятие охватывает довольно широкий круг социокультурных практик, нацеленных на адаптацию к непривычным условиям военного времени. В рамках этого же направления исследуются и такие вопросы, как поддержка войны обществом, мотивации солдат и гражданского населения. Подобный подход, помимо всего прочего, позволил историкам преодолеть существовавшее в литературе предшествующих лет своеобразное разделение между фронтом и тылом: в современной историографии значительное внимание уделяется настроениям,

представлениям и особенностям поведения, общим для солдат и гражданского населения. Важное значение на современном этапе приобрело также изучение истории женщин на войне. Кроме того, в 1990-е годы, под влиянием событий в бывшей Югославии, в центре внимания вновь оказался вопрос о военных преступлениях, что стимулировало растущий интерес исследователей к проблеме насилия против мирного населения в Первую мировую войну, которая, будучи первой тотальной войной в истории человечества, во многом предопределила специфику вооружённых конфликтов XX столетия, включая систематические нарушения правил и обычаев войны, геноцид и т. д.

Авторы обращают внимание на два существенных пробела в современной литературе по истории гражданского населения в годы Первой мировой войны. Во-первых, вне поля зрения исследователей до сих пор остаётся повседневный опыт сельских жителей, что совершенно неоправданно, поскольку они составляли весьма значительную часть населения стран – участниц конфликта, а деревенская культура довольно сильно отличалась от городской. Во-вторых, недостаточно изученной в западной историографии остаётся история Восточного фронта, в т. ч. и военный опыт мирного населения Восточной и Юго-Восточной Европы.

В эволюции исторической памяти о Первой мировой войне Дж. Винтер и А. Прост выделяют два этапа: до конца 1960-х годов и с начала 1970-х по настоящее время. На первом из них профессиональная историография развивалась довольно изолированно, а образ «Великой войны» в массовом сознании определяли в основном её участники, благо многие из них были ещё живы и пользовались заслуженным авторитетом, как непосредственные свидетели событий. Особую группу составляли те авторы, которые в 1914–1918 гг. занимали высокие государственные и военные должности (У. Черчилль, Р. Пуанкаре, Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, Э. Людендорф и др.), – их воспоминания по своей информативности были сопоставимы с историческими сочинениями. Известную роль в формировании национальной памяти играла и государственная пропаганда.

Роль научной историографии значительно выросла в 1960-е годы, расширился и круг специалистов, интересующихся Первой мировой войной. Интерес к событиям 1914–1918 гг. распространился за пределами собственно исторических кафедр; важным шагом к формированию такого направления, как культурная история Первой мировой войны, стали работы историков литературы П. Фасселла и С. Хайнса[7]. В англосаксонском мире сказался кроме того недавний опыт войны во Вьетнаме; с появлением первых исследований посттравматического синдрома специалисты, включая и историков, вновь обратились к публикациям предшествующих лет, посвящённым феномену военного невроза *(англ.* shell shock – буквально «снарядный шок», т.е. психическая травма, полученная во время артиллерийского обстрела) у участников Первой мировой войны. Историки континентальной Европы занялись этой проблематикой гораздо позже. Для 1980-х – 1990-х годов было характерно активное развитие музеев Первой мировой войны, а также появление многочисленных литературных произведений и фильмов о ней. В формировании массовой памяти о «Великой войне» профессиональные историки, таким образом, по-прежнему остаются в меньшинстве.

***

Подводя в последней главе итоги своего исследования, авторы констатируют, что научная историография Первой мировой войны до сих пор разделена на многочисленные национальные школы, развивающиеся по преимуществу обособленно. С конца 1980-х годов появляются книги, авторы которых пытаются выработать «общеевропейский» взгляд на события 1914–1918 гг., а также тематические сборники статей, подготовленные интернациональными коллективами авторов, но такого рода публикации остаются скорее

[7]Fussell P. The Great War and modern memory. – N. Y.: Oxford univ. press, 1975; Hynes S. A war imagined: The First World War and English culture. – L.: Pimlico, 1992; Idem. The soldiers' tale: Bearing witness to modern war. — N. Y.: A. Lane, 1997.

исключением, чем правилом. Дж. Винтер и А. Прост отмечают, что подобные работы обычно пишутся учёными со стажем, пользующимися известностью в академическом сообществе и имеющими хорошую финансовую поддержку, или при участии таких исследователей. Выход за пределы национальной историографии, таким образом, остаётся довольно непростой задачей, особенно для молодых историков. При написании учебников глобальный подход, напротив, применяется довольно активно и вполне успешно.

Такое положение во многом обусловлено тесной взаимосвязью самих феноменов войны и нации; к тому же опыт разных европейских стран в Первой мировой войне и его последующее восприятие в этих странах довольно сильно различаются. Что для французов было трудной победой с неоднозначными последствиями, то немцы долгое время воспринимали как свою собственную победу, только упущенную в результате «удара в спину»; как следствие, первые серьёзные научные работы по истории Первой мировой войны появились в Германии только после её нового поражения в войне 1939–1945 гг. Среди британских исследователей распространено представление о Первой мировой войне как о бессмысленном конфликте, в ходе которого миллионы жизней были растрачены зря; для французского читателя, к примеру, такая точка зрения ещё совсем недавно была бы совершенно неприемлемой.

Играют свою роль и различия в исследовательских традициях. Английской историографии свойственна определённая доля иронии, стремление сохранить дистанцию между учёным и изучаемым объектом. Во французской исторической науке, напротив, силён акцент на поиск причинно-следственных связей, восходящий ещё к картезианскому наследию. Даже периодизация истории значительно различается в разных национальных школах, а от принятой периодизации зависит и то, в какой контекст будут помещаться описываемые события. Сказываются также различия в организации архивов в разных странах, в степени сохранности фондов (германские архивы пострадали в результате бомбёжек во время Второй мировой войны). Определённое влияние на тематику публикуемых работ оказывают и издатели, преследующие собственные коммерческие

интересы. «Национальный характер историографии Великой войны, – констатируют авторы, – очень трудно преодолеть. В нашем распоряжении много книг о нациях в войне. У нас нет истории войны на глобальном уровне. Или, точнее, есть успешные концепции войны, которые едва ли вообще возможно совместить между собой» (с. 199).

Первое поколение историков Первой мировой войны, сформировавшееся в 1930-е годы, во многом исходило из историографической традиции XIX в., отсюда его преимущественный интерес к политической и дипломатической истории. Поскольку феномен войны в этот период осмысливался главным образом в духе Клаузевица («Война есть продолжение политики иными средствами»), история боевых действий рассматривалась «глазами генеральных штабов, с их командной иерархией и генералами» (с. 201). Отчасти это было обусловлено элитарным характером самого академического сообщества.

Поколение 1960-х годов работало уже в ином контексте. Опыт Второй мировой войны заставил историков серьёзно переосмыслить сложившиеся представления о войне 1914–1918 гг., её природе и последствиях. В новых условиях глобального соперничества между двумя сверхдержавами, обладавшими ядерным оружием, крупномасштабные войны утратили своё прежнее значение как средство решения политических проблем насильственным путём. Следствием этого стала смена целевой аудитории историков Первой мировой войны: во второй половине XX в. они обращались уже не к политикам, а к широкой читающей общественности. Изменилась и сфера их интересов – произошёл поворот к социальной истории, истории «снизу». История боевых действий сохранила своё центральное значение в осмыслении конфликта, но из «истории глазами генеральных штабов» она превратилась в большей степени в историю солдат, комбатантов, которым пришлось вынести на своих плечах основные тяготы войны.

Поколение 1990-х годов формировалось в условиях окончания Холодной войны и набирающей силу европейской интеграции. Национальное государство утрачивает своё прежнее значение, отсюда дальнейшее снижение интереса историков к политическим

институтам. Социальная история продолжает активно развиваться, но теперь её дополнили методы культурной истории и микроистории. Это относится и к собственно военной проблематике: «В определённом смысле, – замечают авторы, – армия оказалась скрыта за индивидуальным и коллективным образом солдата» (с. 205). Меняется понимание феномена Первой мировой войны в целом, на смену прежним представлениям о ней как о глобальном конфликте между национальными государствами пришла новая концепция «европейской гражданской войны».

Среди многочисленных интерпретаций Первой мировой войны можно, таким образом, выделить три основных модели. Одной из них была война наций; с этой точки зрения события 1914–1918 гг. могут рассматриваться как логическое продолжение – и завершение – «долгого» XIX века. Такой подход был особенно популярен среди первого поколения историков, рассматриваемого в книге. Он имел различные вариации, которые так или иначе можно свести к трём направлениям: либеральному, с его особым вниманием к роли личности в истории; неомарксистскому, отличавшемуся бóльшим уклоном в сторону социально-экономического детерминизма; и, наконец, «гуманистическому», как его называют авторы «за отсутствием лучшего термина» (с. 207), уделявшего дополнительное внимание судьбам простых людей, на долю которых выпала война.

Во второй половине XX в. описанная парадигма отчасти сохранила своё объяснительное значение, особенно в популярной литературе и учебниках, но в исследовательском сообществе ей на смену пришла другая, в рамках которой война рассматривалась уже как конфликт между обществами. Это позволило значительно расширить предмет исследования, проследить, как повлияли на исход боевых действий социально-экономические процессы в странах – участницах войны, раскрыть связь между войной и последовавшими за нею революциями. Данный подход активно использовался вторым поколением историков Первой мировой войны, особенно в Германии; в британской историографии он представлен менее широко. В некоторых странах он популярен и в настоящее время, например, в Италии. Его основной недостаток авторы видят в том, что он в целом

отличается большей склонностью к детерминизму, нежели предыдущий, а любой детерминизм по-своему опасен, поскольку может привести к подмене подлинного анализа упрощёнными механистическими формулами.

В настоящее время преобладающим направлением является изучение «человека на войне». Нынешнее поколение учёных, с его особым интересом к культурной истории, микроистории, истории повседневности, исследует не «войну наций» и не «войну обществ», а «войну солдат», «войну жертв»; здесь можно проследить некоторые параллели с «гуманистическими» подходами предыдущих десятилетий. Как следствие, наибольший интерес вызывает индивидуальный опыт участников и современников войны, история государственных институтов и социальных групп изучается лишь в той мере, в которой она влияла на этот индивидуальный опыт. Появление подобной парадигмы во многом обусловлено попытками осмыслить трагическую историю XX века в целом, проследить взаимосвязь между Первой мировой войной и возникновением тоталитарных режимов, общей эскалацией насилия в минувшем столетии.

Авторы подчёркивают, однако, что в их задачи не входило диктовать действующим или будущим исследователям готовые решения, какой из существующих парадигм им следует придерживаться в своей работе. Все описанные подходы имеют свои преимущества и недостатки, разным поколениям людей свойственно задавать различные «вопросы» своему прошлому, и нынешний методологический плюрализм, хотя и приводит к появлению зачастую трудно совместимых концепций истории Первой мировой войны, но зато позволяет учёному применять тот исследовательский инструментарий, который в наибольшей степени соответствует его научным интересам.

М.М. Минц

В.М.ШЕВЫРИН

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (НОВЕЙШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ)

(Обзор)

В конце 1990-х годов В.Л.Мальков, совершая экскурс в историографию войны, упомянул о том, что в советской науке, в отличие от зарубежной, изучение истории Великой войны «не носило систематического характера и даже негласно считалось утратившим актуальность» (106, с. 11). Действительно, со времен М.Н.Покровского, пустившего в мир крылатое выражение «забытая война», которое нередко и теперь ещё выносится в заголовки книг, история Первой мировой находилась в густой тени революции и Гражданской войны, собственно, ею и порожденных, но которые в силу господствовавшей тогда идеологии были в большом «фаворе» у историков.

Но в постсоветской России положение дел с изучением истории войны стало меняться. И тот же В.Л Мальков, а также А.О.Чубарьян, В.К Шацилло, А.Е.Андреев и ряд других известных ученых (110, 130, 157) отмечают явное возрастание интереса специалистов к истории той мировой катастрофы. «Лёд тронулся», - и так, что эра «забытой войны» стремительно уходит.

Для современной историографии характерно беспрецедентное приращение источниковой базы исследований (различных документов эпохи, мемуарной литературы, издание которых переживает

настоящий бум), небывалое расширение тематики работ и - последнее, но наиболее, пожалуй, значимое, - обращение историков к новым идеям и методам исследования.

Это становится особенно очевидным теперь, в преддверии столетия войны, которое будет, судя по всему, отмечаться с государственным размахом. Уже сейчас проводятся различные встречи, конференции, «круглые столы», издается множество материалов по истории войны, впервые за многие десятилетия открываются памятники на местах былых сражений и на братских могилах погибших воинов, демонстрируются новые документальные фильмы о событиях и героях тех лет и т. п. Таким образом, реанимируется память о войне и воздается, хотя и с громадным опозданием (опять же в отличие от европейских стран, где всегда чтили и свято чтут память своих соотечественников) должное ее участникам.

8 апреля 2013 г. в Государственной думе состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны (ПМВ). Спустя два дня в Российской академии наук прошел круглый стол, организованный Российской ассоциацией историков ПМВ на тему «Происхождение Первой мировой войны: альтернативные подходы» (130).

Такое заметное оживление интереса к истории войны только оттеняется, только подчеркивается ее предстоящим юбилеем, но это не есть его глубинная основа. Главное, конечно, в том, что к нам пришло осознание связи времен и понимание того, что корни многих проблем современности уходят в роковую войну 1914-1918 гг., открывшую совершенно новую и трагическую страницу в истории человечества.

А.И.Уткин был совершенно прав, когда говорил, что для историка эта война «самая интересная». Я думаю, что «интересная» прежде всего потому, что при объективном её изучении она даёт возможность увидеть скрытые пружины мирового исторического процесса, его смысл и вектор развития.

Выдающиеся российские мыслители уже тогда, в только что начавшемся мировом конфликте провидчески улавливали именно такое его значение. И осознали новый, трагический отсчет времени,

который начала мировая история. П.Б.Струве пророчески писал: «Произошла историческая катастрофа. Волны истории несут нас к новым берегам...». Ему вторил С.Н.Булгаков: «Мы катастрофично вступаем в новый период истории» (163, с.5). И этот новый период продолжается. По крайней мере, многие историки резонно считают, что человечество, вступив в новое историческое измерение, не прошло до конца этот цикл. По мнению академика Ю.А.Полякова, и ныне выстрел в одной стране может всколыхнуть регион и охватить весь мир (163, с. 5).

И потому совсем не случайно, что как только российские историки в начале 1990-х годов обрели возможность свободно, без идеологического пресса обсуждать актуальные проблемы науки, они начали с пересмотра, с переоценки многих «основополагающих» и прежде незыблемых «твердынь» в историографии. Начали именно для того, чтобы понять истинный смысл событий, определивших ход российской и мировой истории.

В этом отношении одной из важнейших, на мой взгляд, была встреча ученых («круглый стол», состоявшийся 28-29 сентября 1993 г.), на которой обсуждались историографические версии происхождения Первой мировой войны. Дискуссия по этой теме дает исследователю «Ариаднину нить», чтобы выбраться из лабиринта тысяч противоречивых, далеко не бесспорных и пристрастных оценок событий и фактов войны. Я бы даже сказал, что она учит мыслить глобально. Дискуссия важна и как веха в развитии самой исторической науки, освобождавшейся тогда от идеологических пут. Поэтому позволю себе остановиться на ней подробно.

В.П. Волобуев говорил о том, что не одни только империалистические противоречия привели к войне. Серьёзную роль сыграли динамичные процессы в различных сферах мирового сообщества (блоковая политика, тайная дипломатия, милитаризация, гонка вооружений и духовная ситуация, предрасполагавшая к войне). Оп поставил вопрос и о том, не послужили ли малые народы «детонаторами всего конфликта?» и не было ли альтернативы войне? (106, с. 12-14).

В.Л Мальков подчеркнул, что в нашей историографии возникла

«совершенно новая познавательная ситуация», связанная прежде всего с выходом на новый методологический уровень, расширением источниковой базы и тематического диапазона, а также появлением исследований, междисциплинарных по своему характеру (106, с. 16).

З.П.Яхимович, продолжая методологическую тему, задалась вопросом о том, способно ли человечество «разумно решать свою судьбу, или, как это произошло в 1914 г., фатальный бег событий его может вновь ввергнуть в военную катастрофу?»(106, с.18).

В.П. Булдаков выступил с докладом «Первая мировая война и имперство». По его мнению, к концу XX столетия появилась возможность утверждать, что этот век (особенно первая его половина) явился начальным и весьма неожиданным этапом глобализации человечества. Этот процесс протекал под влиянием и в условиях действия ряда разнородных новых факторов: всепроникающая роль неуправляемого индустриализма, невиданное развитие средств коммуникаций, скачкообразный рост народонаселения, лавинообразное становление гражданского общества через «восстание масс» и т.д. Но эти «объективные» интегрирующие факторы оказались в противоречии с людской психологией: прежде всего с воинственностью национального эгоизма. И если объективные условия подсказывали идею создания относительно гомогенного – «неконфликтного» – человеческого пространства, то сила традиции тянула к психологии имперства. Как следствие, «империалистический передел мира» принял форму всеохватывающей битвы за ресурсы и коммуникации. Причем речь шла даже не столько о непосредственных территориальных захватах, сколько о стремлении не дать сопернику осуществить их. Реанимация идеи имперства стала знамением времени: путь к глобализму стал пониматься как движение через гегемонизм, а последний предполагал блоковую систему с активным использованием этнонационального фактора. «Традиционные» империи, не изжившие сословности, этноиерархичности и не создавшие мощного ядра гражданского общества, оказались обречены на поражение и распад.

Итоги Первой мировой войны имели абсолютно неординарное значение «на все времена». В целом их можно свести к феномену

кризиса имперства. Это означало, с одной стороны, что «индустриально-колониальные» империи, несмотря на демократизацию метрополий, отнюдь не отказались от гегемонистских устремлений. С другой стороны, такие «традиционные» империи, как Австро-Венгрия и Турция, развалились, причем этот факт был чреват новым обострением борьбы за передел мира. Наконец, Германия, как империя «переходного» типа, в очередной раз попыталась осуществить заявку на гегемонию на мировой арене, используя на этот раз не пангерманизм, а нацизм, т.е. мощную подпитку шовинизмом сознания масс, не желающих ощущать себя «жертвой Версаля» (106, с.21-25).

В.И.Миллер, анализируя современную историографическую ситуацию, говорил об очередном «повороте» в общественном сознании, связанном с идеологической атакой на большевизм, ведущийся под разными флагами. С одной стороны, ясно видно стремление части политиков и публицистов «разделаться» с идеей интернационализма, воодушевлявшей многих борцов против войны, и возродить национализм в его наиболее радикальном, шовинистическом варианте. В этой связи вновь, как и в те далекие годы, противники войны трактуются как изменники, а генералы, офицеры и солдаты русской армии той поры, сражавшиеся и погибавшие на полях сражений, напротив рассматриваются как патриоты. С другой стороны, характерное для последних лет восхваление Романовых и их ближайшего окружения (генералов, министров и др.) привело к публикации исторических трудов и мемуаров, вышедших из-под пера людей этого круга. А для них война была последней героической эпохой императорской России.

Одна из иллюстраций сказанного - вопрос о «виновниках войны». В условиях, когда развертывается идеализация императорской России, вновь предлагается простенькое решение о Германии и Австро-Венгрии как о виновниках войны. Одновременно игнорируется вывод, уже давно ставший достоянием международной историографии, о мировой войне как результате длительного процесса накопления межимпериалистических, межгосударственных и иных противоречий. При этом вопрос о лицах, непосредственно

участвовавших в развязывании войны, естественно, не исключается из рассмотрения, но ставится на подобающее ему второе (а может быть, и более отдаленное) место.

Если обратиться к сюжетам, которые обычно не находят отражения в трудах о войне, на первое место в их ряду В.И. Миллер предпочел бы поставить духовную атмосферу предвоенных лет и ее изменения в годы войны. Нельзя сказать, что эти аспекты жизни общества того времени совершенно не изучались. Есть много работ, в которых рассматривалась шовинистическая пропаганда, получившая распространение в Германии, во Франции, да и в России накануне и в начале войны. Но существовала в духовной жизни европейских стран и контрсила, противостоявшая этой пропаганде. Это были не только антивоенные документы II Интернационала, о которых говорили чаще всего. Был и пацифизм различных видов, а главное, не следует забывать, что начало XX в. было одним из периодов расцвета духовной культуры и в России, и в Германии, и во Франции.

Вторая проблема, которая также заслуживает изучения, это война и общественная мораль. Давно известно, что война нередко развращает людей, приучает их убивать, не испытывая при этом нравственных страданий, что за войнами следует нарастающий вал преступности, возникающий вслед за возвращением демобилизованных солдат к родным очагам. А в основе всего этого лежит особая военная мораль, которая не только оправдывает аморальные (с точки зрения общечеловеческих ценностей) действия, но подчас прямо вынуждает делать то, что в иных, мирных условиях человек никогда бы не сделал. О поведении человека на войне (в конкретных условиях 1914-1918 гг.) написано много, но все эти материалы нуждаются в современном прочтении и в соответствующем анализе (106, с. 59-61).

А.М. Пегушев затронул вопрос о роли колониальных противоречий. По его мнению, население ряда обширных районов Африки в конце XIX - начале XX в. еще в полной мере не ощущало на себе пресс колониального правления, европейская администрация во многих странах колониального мира (за исключением Индии, некоторых стран Северной, Западной и Южной Африки и ряда др.)

была малочисленной, а колониальные границы, как правило, условными. Неслучайно в этот период был распространен термин «сферы влияния», боле точно, нежели понятие «колониальное владение», отражающий характер взаимоотношений между соперничавшими державами (106, с. 62-65). Реальная жизнь нередко резко расходится с нашими абстрактными представлениями о ней. Известны случаи, когда, казалось бы, непримиримые колониальные соперники действовали сообща в критических ситуациях или перед лицом общей угрозы.

А.В.Ревякин, рассматривая проблему вины и ответственности, высказал мнение, что у ведущих мировых держав не было достаточных оснований стремиться к войне. Для старых колониальных и многонациональных государств – Великобритании, Франции, России и Австро-Венгрии – в ней заключался непомерный риск «великих потрясений», о чем напоминал опыт франко-прусской и русско-японской войн. От статус-кво особенно не страдали и молодые индустриальные державы, такие, как Германия и США, лидировавшие в мировом экономическом соревновании. Поэтому, выясняя причины Первой мировой войны, важно не только указать на те общественные (международные, династические, экономические, социальные, национальные и пр.) противоречия, попытку разрешить которые и представляла собой война, но и объяснить мотивы того, почему именно военный способ разрешения этих противоречий избрали основные мировые державы.

Ход международных кризисов начала XX вв., не исключая и июльского 1914 г., свидетельствует, что, прежде чем «перейти Рубикон» и сделать войну неотвратимой, каждая из конфликтующих сторон располагала временем на раздумья, отвлекающие маневры и, в крайнем случае, на дипломатическое отступление (в расчете на реванш при более благоприятных обстоятельствах). Ни одна из европейских стран, за исключением Бельгии и Люксембурга, не подверглась внезапной агрессии типа той, которую в начале Второй мировой войны Гитлер обрушил на Польшу, Данию, Норвегию и т.д. И если после длительных раздумий правительства основных держав Европы все же предпочли военный способ разрешения своих противоречий, то это,

безусловно, говорит о решающей ответственности, по крайней мере, некоторых из них.

Вопрос об ответственности заставляет взглянуть на причины Первой мировой войны и с правовой точки зрения. Долгое время последняя была у нас не в чести. Между тем в правовом отношении вопрос об ответственности совсем не прост. Он заключается в том, какая из воюющих сторон и в какой мере нарушила в 1914 г. общепризнанные нормы права. Несомненно, к военному способу разрешения противоречий, накопившихся в отношениях между странами в начале XX в., подталкивало правительства и общественное мнение европейских держав, представление об оправданности и правомерности насилия во имя общественного (национального, классового, государственного) блага. А.В.Ревякин также указал, что в прошлом наша историография преувеличивала значение экономических противоречий между державами в начале XX в., отметив, что нормальный, здоровый рынок экономически не разделяет, а объединяет народы. И если в начале XX в. он порой давал повод для недоразумений и споров между ними, то он же их и мирил, все теснее связывая узами общих экономических интересов. Об этом свидетельствуют активные интеграционные процессы, наблюдавшиеся в предвоенные годы (106, с. 65-70).

Б.М.Туполев, коснувшись темы «Россия в военных планах Германии», подчеркнул, что идеологией «окончательной борьбы» между славянами и германцами была воодушевлена вся германская правящая верхушка: кайзер, начальник Генерального штаба Мольтке, рейхсканцлер Бетман-Гольвег, руководители имперских ведомств. Имперское руководство стремилось добиться долгосрочного ослабления Российского государства посредством отторжения его западных пограничных территорий (106, с.49-54).

Т.М.Исламов говорил о восточноевропейском факторе. Он обозначил пять позиций.

1. Об империализме, эпохе империализма, империалистическом характере войны. Здесь он подчеркнул, что нет оснований принимать за истину в конечной инстанции теорию империализма в ее ленинской трактвоке, но еще меньше оснований отбрасывать ее целиком, с

легкостью необыкновенной предавая анафеме сами понятия «империализм», «империалистическая экспансия», «империалистическая политика». Характер и природа начавшейся в августе 1914 г. всесветной бойни определялись не защитой «родной земли, священных рубежей отечества», не заботой о спасении культурных ценностей и цивилизации от варваров – тевтоно-германских либо русско-славянских, а интересами империалистической экспансии в форме захвата, раздела, передела чужой земли либо установления сфер влияний и т.п. Анализ происхождения войны и ее характера не будет полным без органического включения в него главных исторических последствий конфликта, каковыми были: большевизм, фашизм, т.е. тоталитаризм обоих толков плюс японский милитаризм с его особой азиатской спецификой, и Вторая мировая война. В сущности, она была в полном смысле слова продолжением первой; отличались они друг от друга скорее количественно – благодаря технологическому прогрессу, - чем качественно... В этом смысле война, начавшаяся в 1914 г., закончилась в 1945 г.

2. В целом теория империализма не может быть отброшена, но настоятельно необходима ее коррекция и дальнейшая разработка. Необходимым представляется расширение и уточнение родовых (видовых) признаков империализма. Особого к себе внимания требуют три из них – индустриализация, экспансионизм, национализм. Несколько слов о национализме. Нужно помнить, что в августе 1914 г. мир взорвали не только межимпериалистические противоречия. Особо зловещую роль сыграл и нетерпимый, агрессивный, всепоглощающий национализм всех: и тех, кто играл главные роли, и тех, кто мог лишь подпевать. Здесь требуются некоторые дополнительные разъяснения, ибо роль малых стран и наций и их национализм в великой трагедии не оценена до сих пор по достоинству историографией; ее анализ еще не вошел органической составной частью в концепцию происхождения Первой мировой войны.

3. О роли малых наций. Справедливо ли считать Сербию такой же жертвой неспровоцированной агрессии, как и Бельгию? Едва ли. У Бельгии не было ни территориальных претензий к Германии, ни

стремления оттяпать какой-нибудь жирный кусочек германской территории. О Сербии этого, к сожалению, не скажешь. Достаточно перечислить лишь некоторые области монархии Габсбургов, на которые простирались притязания сербов: Босния-Герцеговина, южные области Венгрии, населенные сербами, но не одними сербами. Получить все это и многое другое (все населенные югославянами земли Венгрии и Австрии) она не могла без большой драки, такой, в которой непременно должна была участвовать и Россия. Только благодаря сербским интригам Россия оказалась втянутой в войну, которая отнюдь не диктовалась правильно понятыми национальными интересами Российской империи. И не геополитические интересы России требовали разрушения Австро-Венгрии, а интересы создания «Великой Сербии» того требовали. Среди немногих в России, кто понял и оценил ситуацию, созданную покушением в боснийской столице, был П.Н.Милюков, ученый-историк и политик. В двух статьях, опубликованных в «Речи» 13 и 14 июля 1914 г., он ратовал за локализацию конфликта, «что бы это ни стоило Сербии!».

4. Вопрос о виновниках войны. Похоже на то, что пришел к благополучному концу некогда сотрясавший мировую историографию пресловутый и порядком наскучивший всем вопрос об ответственности за войну, породивший гору литературы на всех европейских языках. К 1960-м годам страсти вроде бы улеглись, и историки наконец-то могли перевести проблему происхождения Первой мировой войны в более спокойное русло строго научных конструктивных дискуссий. Барьер «патриотического» подхода первыми и весьма успешно преодолели немецкие историки. Работы Фрица Фишера, его учеников и единомышленников, в частности, Иммануила Гайса, имеют ценность модели современной в лучшем смысле слова историографии, свободной от националистической узости, могут служить образцом для других национальных исторических школ.

5. Наднациональная историческая мысль обращена сегодня на постижение смысла катаклизма 1914-1918 гг. во всемирно-историческом контексте. В нем видят сегодня главное событие, определившее лицо второго тысячелетия. Его ставят в ряд таких

явлений, как Великая французская революция, промышленный переворот, великие географические открытия и заокеанская экспансия европейских держав и др. Рассмотрение этой войны с более широкой, «глобальной» перспективы важно не только как наиболее эффективное противоядие против «патриотизма» в историографии, но и для осмысления происхождения Первой мировой войны и ее всемирно-исторических последствий в единстве и целостности. Наши западные коллеги не без основания полагают, что применение к изучению Первой мировой войны метода глобальной истории позволит поднять историографию на качественно новый уровень, создать адекватную, свободную от прежних односторонностей общую концепцию истории Великой войны (106, с. 44–48).

В.С.Васюков подал тему «мир на пороге войны» тезисно.

1. «Война порождена империалистическими отношениями между великими державами, т.е. борьбой за раздел добычи». А объектами этого дележа являлись, по Ленину «колонии и мелкие государства». Однако мы видели, что противоречия, приведшие к войне, возникли не вдруг, а накапливались с середины XIX в., с домонополистической стадии, и вряд ли существенно изменили свой характер только в связи или по причине вступления капитализма в монополистическую стадию.

2. Устоявшимся в литературе является и другой постулат, а именно: «... на первом месте стоят в этой войне два столкновения. Первое – между Англией и Германией. Второе – между Германией и Россией». Во-первых, здесь налицо явная недооценка франко-германских противоречий, острота которых была нисколько не меньше, если не больше, противоречий англо-германских и русско-германских.

3. И если, по распространенному мнению, яблоком раздора явились «колонии», то это опять-таки относится к разряду противоречий, в значительной мере коренящихся в стадии раннего капитализма. А между тем война между Германией и Францией, способная втянуть в свою орбиту другие европейские государства, могла вспыхнуть, скажем, в 1885 г. и позже, в последнем десятилетии XIX столетия. Следовательно, причины войны 1914- 1918 гг. оказались

гораздо сложнее и многообразнее, чем принято было считать, и их надо основательно изучать, выходя при этом далеко за пределы XX в. ... война планировалась прежде всего как борьба за абсолютное господство на Европейском континенте, за территориальный передел мира.

4. Критически следует отнестись и к такому утверждению: наряду с двумя названными столкновениями (англо-германским и русско-германским), подчеркивал Ленин, «существует не менее - если не более - глубокое столкновение между Россией и Англией», порожденное «вековым соперничеством и объективным международным соотношением великих держав...». Как видите, и здесь не может не возникнуть вопроса. Коль скоро англо-русские противоречия на тот момент и в самом деле были еще более глубокими, чем англо-германские, то почему же Россия и Англия оказались в одной и достаточно прочной антигерманской коалиции?

5. Остается в тени и еще один важный вопрос, хотя он вроде бы напрашивается сам собой. Если центральным антагонизмом на европейском театре, да и в мире, был англо-германский, то почему первым объектом нападения со стороны Германии оказались Россия и Франция, а не главный ее враг - Великобритания? Более того, какое-то время, в самом начале, Германия, как известно, питала надежду, что Англия может воздержаться от вмешательства в конфликт, сохранить нейтралитет. Я позволю себе здесь сделать только следующее замечание. Для того чтобы скрестить шпаги с Англией, Германии предстояло, прежде всего, устранить основное препятствие на пути к установлению своей гегемонии на Европейском континенте – разгромить франко–русский союз. Военную мощь Германии и блока Центральных империй в целом составляли наземные силы. Им-то и предстояло столкнуться с мощными сухопутными армиями франко-русского союза. Представляется, что Лондон, считая свое столкновение с Германией неизбежным, занимал какое-то время весьма двусмысленную позицию, имевшую целью позволить Германии сильнее увязнуть в конфликте, из которого она уже не смогла бы выбраться, после чего с помощью России и Франции разгромить своего соперника и конкурента. Исход борьбы решался на сухопутных

театрах войны, а не на море. Увы, углубленный анализ военных аспектов названных проблем давно у нас не проводился и нуждается в возобновлении.

В заключение В.С.Васюков отметил, что главной причиной Первой мировой войны являлось стремление Германской империи силой оружия установить свое господствующее положение в Европе и мире и готовность Тройственного согласия не допустить подобного исхода (106, с. 25-32).

В.Н.Виноградов показал «вклад» малых стран в развязывание Первой мировой войны (106, с. 32 34). А.В.Игнатьев, анализируя проблему «Россия и происхождение Первой мировой войны», утверждал, что страна заняла первостепенные позиции в эпоху, предшествовавшую переходу к монополистическому капитализму. Она принадлежала к числу держав, больше заинтересованных в сохранении уже произведенного раздела мира, чем в его переделе (106, с.92-105). .

Л.Г.Истягин подчеркнул, что современная германская историография стоит на почве признания вины Германии за развязывание Первой и Второй мировых войн. В немалой степени это «позволяет исторической науке наших дней сделать шаг по пути раскрытия глубинных истоков войны» (106, с. 54–55).

Уже тогда, в 1990–е годы, большинству российских историков стали «тесными» рамки закономерности в марксистском понимании слова и они предпочли от них освободиться. На смену догматическим стереотипам, монополии марксистско-ленинской идеологии и методологии пришли многомерность и вариантность исторического развития. Высказывалось убеждение в том, что исторический процесс в России, как и в других странах, развивался не по шаблонной схеме «или – или, иного не дано», а инвариантно и комбинированно. В предвоенные годы еще не были утрачены возможности мирного эволюционного развития страны (163, с. 19).

«Уход со сцены» идеологической монополии, свободный доступ к архивам и широкие контакты с зарубежными коллегами благотворно сказались на научной деятельности ученых, на состоянии их исследований. Нет уже безраздельного господства теории

империализма при объяснении причин мирового конфликта, не застилает весь историографический горизонт «борьба партии большевиков», раритетными стали экскурсы историков в «рабоче-крестьянскую тематику», - революция 1917 года перестала закрывать собой Великую войну.

В последние годы произошли качественные изменения самой парадигмы исследовательского поиска, что, в свою очередь, привело к возникновению новых направлений в историографии Первой мировой войны. Исторические исследования о войне «все в большей степени входят в общее русло новых веяний и новых подходов, распространенных в мировой исторической практике» (110, с. 7).

Достижения зарубежной науки у нас «прописались» как родные. По крайней мере, историки, елико возможно, стремятся к познанию истины через многообразие гуманитарных наук (113) с калейдоскопом их новаций (антропологизм, междисциплинарность исследований, «лингвистический поворот» и др.). Примером того, что все больше исследователей переходит к использованию междисциплинарной методологии, творчески применяя подходы, характерные ранее для других смежных наук: политологии, социологии, культурологии, психологии, географии и т.п., может служить военная антропология, изучающая поведенческие модели и системы представлений людей, вынужденных бороться за выживание в страшных условиях на фронте и в тылу. Ученые обратились к изучению вопроса о том, насколько тотальная война изменила облик общества, поведенческие стереотипы населения, характер социальных институтов и государственных структур.

Они обращают первостепенное внимание на культурный контекст поведения человека, исследование культурных форм, на историю повседневности. Освещаются представления простых людей о жизни и смерти, особенности их обыденной жизни, болезни, голод, преступления и многие другие вопросы. В частности, Е.С. Сенявская освещает ряд существенных сторон в менталитете сражавшихся: образ врага, патриотизм и война, женщина на войне, война и религия и др. В центре её исследований – человек, его менталитет, психология, духовная сфера (128, 129). О.С. Поршнева также подчеркивает, что

центральным звеном всех психологических измерений войны является проблема «человек на войне». Изучение человека на войне, его переживаний, настроений, мыслей, ощущений – важнейшая составляющая изучения ментальной истории войны. Автор справедливо считает, что особую актуальность приобретает рассмотрение менталитета и поведения наиболее многочисленных общественных слоев российского общества – «народных низов» – крестьян, рабочих и рекрутированных из их рядов солдат. В годы Первой мировой войны в условиях ослабления власти, а затем и основ социальной стабильности в целом их действия, представления, образы, надежды, чаяния, иллюзии и разочарования определили в конечном счете характер социальных сдвигов тектонического масштаба. Не столько усилия политической элиты или революционных вождей, сколько социокультурные стереотипы сознания и поведения народных масс, определяющие специфику национального менталитета, повлияли на характер трансформации российского общества и определили важнейшие тенденции его развития в дальнейшем (112, с. 4).

О.С.Поршнева осмысливает истоки формирования социокультурных предпочтений масс, а также факторов и динамики их эволюции под влиянием модернизации, революционного кризиса начала XX в. и Первой мировой войны. Это новаторское исследование О.С.Поршневой тем более важно, что «построить модели описания Российской революции без новых исследований истории рабочих, почти забытой в современных исследованиях», невозможно (70, с. 567). Такие исследования, действительно, редкие «гости» в новейшей историографии (3, 20, 63). Работа же О.С.Поршневой подтверждает, что в науке на новом витке ее развития «реанимируется» старый принцип, лапидарное определение которого дал еще Гёте: «Главный предмет изучения человечества – Человек». И вот человек, во всех своих проявлениях, на войне и в тылу, стал объектом изучения наших ученых. История куётся каждый день и каждым человеком. Ход истории, ее триумфы и трагедии зреют в повседневности. Тонко чувствующие люди это всегда улавливали. И в России времен войны – тоже. С.И.Федорченко, например, в разгар войны издавшая книгу «Народ на войне», в которой рассказала о том, как шли на фронт и что

думали о причинах войны солдаты, как относились они к «начальству» и к товарищам, как переносили болезни и раны, как говорили о врагах, что вспоминали о доме и что думали о войне и т. д. Замечу, что теперь, когда наши историки берут «на вооружение» и «транснациональную историю», подобный «антропологизм» не совсем ей чужд, хотя эта история по-своему рассматривает соотношение личности и общества и такое явление, как война.

В транснациональной истории слышен и знакомый отголосок нашей старой марксистской «песни», хотя и с ясным критическим «лейтмотивом». Сторонники этой истории против узких идеологических рамок марксизма, потому, что в нем единственными транснациональными деятелями истории оказываются буржуазия и пролетариат, в то время как в действительности идет гораздо более сложный процесс взаимодействия групп и ассоциаций. Но полностью отказываться от марксистской точки зрения на историю они считают неразумным, учитывая возможность освещать с её помощью современные глобализационные процессы. Для них ценен анализ, который совмещает культурное понимание нации с экономическим пониманием развития обществ и возможности личности развиваться в этих обществах, что дает полное представление об интересах человека как субъекта, который стремится к самореализации и в политическом, и в индивидуальном смысле. Он позволит проследить, насколько этот интерес совпадает с идеологическими конструкциями, которые ему навязываются государствам, близкими, и т. д. То есть сторонники транснационального подхода рассматривают человека как свободного гражданина мира.

Есть и еще один аспект истории, который связан с грядущим 100-м юбилеем Первой мировой. Наши зарубежные коллеги, в частности, в Великобритании, в своем интересе к этой дате видят весьма серьезную причину, - возможность пересмотреть, заново интерпретировать события войны, когда все её участники уже ушли из жизни. Апологетам транснациональной истории кажется, что с уходом этих последних участников и свидетелей мировой катастрофы, все условия исследования меняются. Категория переживания и категория уважения к личному опыту отступает на второй план. Помимо

уважения к пережитому современниками травматическому опыту у историка появляется некая привилегия рассмотреть войну с точки зрения культурных ценностей, которые не связаны с фронтовыми переживаниями. Такой транснациональный подход к памяти Первой мировой войны в Западной Европе и в США начал осуществляться уже при жизни ветеранов, в 1960-е годы. Транснациональная история могла бы сыграть положительную роль и в переосмыслении российского исторического опыта. В России не было культуры памяти Первой мировой войны, потому что ее затмили революция и Гражданская война. И сейчас обсуждается вопрос о том, стоит ли вернуться к культуре памяти Первой мировой войны как конфликта Российской империи с другими империями, или нации с другими нациями, или же стоит сразу прыгнуть на «следующий поезд», обратившись к транснациональному подходу. Надо иметь в виду и то, что многие потомки участников войны уже не являются гражданами Российской Федерации, и, кроме того, внесли большой вклад в культурную жизнь других стран. Роль исторической науки состоит в том, чтобы она показывала не только конфликты в прошлом, но и учила находить пути их преодоления в будущем.

В историографии заметно проявляется тенденция, суть которой в преодолении традиционного европоцентризма в изучении периода 1914-1918 гг. Исследователи обращают свое внимание не только на театры военных действий Старого Света, но и тщательно анализируют все изменения в стратегии и тактике государств – участников войны на «второстепенных» фронтах.

Происходит и трансформация вектора исследований проблем взаимосвязи истории социальных движений и групп с мировой войной. Ныне ученые перенесли акцент с рассмотрения рабочего и социал-демократического спектра таких движений на изучение роли в них других, ранее остававшихся вне поля зрения специалистов, общественных групп, объединенных по какому-либо признаку: этноконфессиональных, женских, молодежных, пацифистских, эмигрантских, даже групп неформального влияния – клубов, ассоциаций, лиг и т.п.

Исследователи проявляют значительный интерес к итогам и

последствиям Великой войны, особенно с точки зрения формирования нового миропорядка в рамках Версальско-Вашингтонской системы (104). Не может считаться абсолютно новой, но все больше завоевывает себе сторонников концепция Второй Тридцатилетней войны, т.е. время 1914-1945 гг. рассматривается как целостный исторический период мировых войн, локальных конфликтов и революционных потрясений, которые сопровождали движение человечества по пути индустриальной модернизации (130).

Российские историки вносят ощутимый вклад в осмысление войны. Делается это на огромном источниковом материале. Причем, они обращаются ко всему спектру военной тематики и используют новейшие наработки своих зарубежных коллег. Происходит, я бы сказал, тотальная мобилизация источников. Издается (и переиздается) великое множество различных документов (5, 28, 36, 107, 156 и др.), воспоминаний и дневников современников той войны (7, 9, 18, 27, 32, 34, 41, 42, 48, 49, 58, 79, 81, 85, 116, 117, 118, 132, 138, 141, 149, 152, 166). Публикуются книги эмигрантских историков (35, 67, 86, 108). Переводятся на русский язык книги не только старые, «классические» работы зарубежных авторов(например, Лиддела Гарта Г.Б.), но и новейшие исследования Н.Стоуна, Э.Лора, У.Фуллера, Д. Макдоно и др. (56, 62, 64, 77, 80, 82, 136).

И впервые, пожалуй, война показана в отечественной литературе так объемно. Появляются и общие работы о войне (4, 98, 148, 149, 156, 160 и др.), и о боевых операциях на различных фронтах (8, 74, 91, 93, 95, 111, 162 и др.), и на море (145 и др.).

Заметно прирастает литература о союзниках России в войне (2, 37, 94, 99, 100 и др.). И оценки их поведения по отношению к России не всегда «благожелательные» из-за того, что Россия, выручая их по их настоянию, нередко проводила операции, которые стоили ей слишком дорого.

Все увеличивается поток исследований и о полководцах той войны, появляются энциклопедические издания о генералах и офицерском составе армии (31, 55). Опыт мартиролога – работа С.В.Волкова. В ней приводятся сведения о генералах и офицерах, участниках мировой войны, погибших в годы Гражданской войны и

репрессированных в 1920-е и 1930-е годы, а также умерших в эмиграции. Даны справки о 18507 чел. (31, с. 5). В уникальном справочном издании, не имеющем аналогов в современной военно–исторической литературе о потерях России и СССР в войнах XX века, есть и цифра потерь России в войне: 9347300 человек. Исследователи проявляют повышенный интерес и к «офицерской» тематике, и к жизни простого солдата, к нижним чинам, к героям войны (40, 54, 92). Весьма интересует современных историков и проблема пленных (44, 54, 60, 89, 115). В России их повседневная жизнь и судьба складывалась по-разному: слишком они зависели от многих обстоятельств. Нелегкой была и жизнь миллионов русских пленных в Германии.

История тыла в современных исследованиях также многоаспектна. Рассматривается степень подготовленности России к войне, ее военный потенциал, экономика и финансы в годы войны (14, 16, 28,65, 114, 158 и др.). Большое внимание историки уделяют теме «война и общество» (29, 30, 107, 123 и др.). Причем, акцент в исследованиях все более определенно ставится на изучении различных проблем, которые возникали в результате войны в регионах (13,51, 52, 59, 71, 87, 109). Взаимоотношения власти и общества, деятельность государственных и общественных организаций, роль либеральной оппозиции в назревании революционного кризиса также занимает видное место в работах историков (1, 33, 88, 102, 126, 163 и др.). И они тщательно изучают изменения в общественном сознании, эволюцию в ментальности различных социальных слоев населения, созревание их протестных настроений.

Исследуя проблему связи войны и революции, историки вводят и сравнительно новые объяснения причин революционного кризиса. В литературе указывается, что «взрывчатая смесь воинствующего национализма, ксенофобии и шпиономании, получившая необычайное широкое распространение в специфических условиях военного времени порой деформировали процесс патриотической мобилизации» (70, с. 572).

Втягивание Империи в войну и ее падение нередко интерпретировалось и интерпретируется и в русле «заговора»,

деятельности внешних сил, прежде всего Германии, Англии, российских революционеров, масонов, генералов и т.д. (19,45, 61, 75, 83, 133, 165). Но «версии» о «конспирологическом характере» революции большинство исследователей не разделяют.

В действительности, как справедливо утверждают многие историки, крах старого строя стал результатом неспособности экономики выдержать напряжение военного времени, коррупции и разложения в различных эшелонах власти, бездарности многих военачальников, мягкотелости императора и ряда других причин. Всего этого не могли компенсировать и общий довоенный экономический рост, и патриотическое настроение в начале войны (110, с. 5). Эта оценка и лейтмотив Международной конференции, состоявшейся в сентябре 2004 г. Вообще, феномен частых встреч историков (105, 106, 110 и др.) весьма способствует их взаимообогащению новыми идеями, что позитивно сказывается и на общем состоянии исторической науки. Накануне 100-летия войны, исследователи многое делают для восстановления памяти о Великой войне. Очень активны в этом калининградские историки, всесторонне изучающие места тяжелых боев армий Самсонова и Ранненкампфа, открывших немало захоронений воинов, и создавших целую литературу, посвященную памяти павших (25). О 1914, кровавом годе войны, и только что появившаяся фундаментальная книга известного историка С.Г.Нелиповича (91). А первая книга памяти появилась в Рязани (125). Большую и разностороннюю работу в деле изучения и воссоздания памяти о войне 1914-1918 гг. проводит Российская Ассоциация историков Первой мировой войны, подготовившая два выпуска своего Альманаха (130).

Завершая обзор, следует отметить, что вся обширная литература по истории Первой мировой войны, вышедшая в свет за последние 10–15 лет в сущности являет собой удачную попытку реконструировать панораму российской жизни тех лет, опираясь и на новейшие достижения современной исторической науки. Представление об этой литературе даёт, я думаю, список работ, который есть в конце обзора.

Создан большой блок научных работ – непосредственно о войне, о боевых операциях на различных фронтах, особенно в Восточной

Пруссии и Галиции, о различных родах войск, принимавших в них участие (пехоте, артиллерии, авиации, флоте, коннице). Впервые историки обратили самое серьезное внимание на проблему пленных (по обе стороны линии фронта). Исследуется деятельность медицинских учреждений. Немало исследований посвящено взаимоотношениям с союзниками. Естественно, высок интерес историков к жизни в тылу (в столицах и в провинции), - к обыденной и общественно–политической, и к состоянию экономики. Исследуется жизнь горожан и крестьян, деятельность различных государственных и общественных организаций. Более всего исследователей занимает вопрос об изменении политического сознания различных социальных слоев и групп населения и в целом всего народа, встретившего войну пением гимна, а через два с половиной года низвергнувшего царя. Поражение России в войне также находит объяснение в значительном числе работ.

Представляется, что современные исследования по истории Первой мировой войны будут иметь большое значение для общественно-политического дискурса в современной России, выявят ее место в исторической памяти российского общества начала XXI века.

Список литературы

1. Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на революцию (1907-1917). – М., 2003. – 256 с.

2. Алексеева И.В. Последнее десятилетие Российской Империи: Дума, царизм и союзники России по Антанте, 1907-1917. – СПб., 2009. – 529 с.

3. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 г. глазами современников (воспоминания, документы, комментарии). – М., 2010. – 363 с.

4. Ардашев А.Н. Великая окопная война. Позиционная бойня Первой мировой. – М., 2009. – 479 с.

5. Архив полковника Хауза. Избранное. В 2 т. – М., 2004. – 602 с.

6. Асташов А.Б. Пропаганда на русском фронте в годы Первой

мировой войны. – М., 2012. – 400 с.

7. Астров Н.И. Воспоминания. - М., 2000. - 173 с.

8. Афанасенко И.М., Бахурин Ю.А. Порт-Артур на Висле. Крепость Новогиреевск в годы Первой мировой войны. – М., 2009. – 162 с.

9. Бадмаев П.А. За кулисами царизма. – М., 2001. - 208 с.

10. Бажанов, Д.А. Щит Петрограда. Служеб. будни балт. дредноутов в 1914-1917 гг. – СПб., 2007. – 223 с.

11. Бахтурина А.Ю.Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М., 2000. – 263 с.

12. Белаш Е.Ю. Мифы Первой мировой. – М., 2012. – 416 с.

13. Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917. – М., 2011. – 288 с.

14. Беляев С.Г. П.Л.Барк и финансовая политика России 1914-1917. – СПб., 2002. – 619 с.

15. Белякова З.И. Великие князья Николаевичи в высшем свете и на войне. – СПб., 2002. – 334 с.

16. Бокарев Ю.П. Экономические последствия распада Российской империи в результате Первой мировой войны. – Екатеринбург; М., 2009. – 86 с.

17. Бондаренко В. Герои Первой мировой войны. – М., 2013. – 500 с.

18. Брусилов А.А. Мои воспоминания. - М., 2004. - 448 с.

19. Брюханов В.А.Заговор против мира. Кто развязал Первую мировую войну. – М., 2005. – 653 с.

20. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. Изд. 2-е, доп. – М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – 967 с.

21. Быт русской армии XVIII – начала XX века. – М., 1999. – 366 с.

22. Бьюкенен А. Моя миссия в России. Воспоминания английского дипломата. 1910-1918. / Пер. с англ. – М., 2006. – 399 с.

23. Ваганова Л.В., Рукосуев Е.Ю. Военно-промышленные комитеты на Урале в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). – Екатеринбург, 2005. – 105 с.

24. Ватала Э. Григорий Распутин. Без мифов и легенд: Роман в документах. – М., 2000. – 768 с.

25. Великая и забытая: Материалы междунар. науч.-практич. конф. – Калининград, 2013. — 164 с.

26. Великая забытая война. – М., 2009. – 590 с.

27. Вильгельм II. События и люди. 1878-1918: Воспоминания. Мемуары. - М., 2003. - 464 с.

28. Военная промышленность России в начале XX века. (1900-1917). Сб. документов. - М.,2004. – 832 с.

29. Война и общество в XX веке: В 3-х кн. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны. – М., 2008.

30. Война и общество (К 90-летию начала Первой мировой войны): Материалы межвуз. науч. конф. Самара, 10-11 дек. 2004 г. – Самара, 2004. – 305 с.

31. Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии: Опыт мартиролога. В 2-х томах. – М., 2012. – Т.1. – 736 с.; Т. 2. – 728 с.

32. Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. – М., 2008. – 480 с.

33. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 - весна 1917 г.). – М., 2003. – 432 с.

34. Глобачев К.И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. – М., 2009. – 519 с.

35. Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. – М., 2001. – 440 с.

36. Голоса истории. Материалы по истории Первой мировой войны: Сб. науч. трудов. Вып. 24. Кн. 3. – М., 1999. – 309 с.

37. Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. – М., 2012. – 392 с.

38. Гордеев А.А. История казачества. – М, 2007. – 640 с.

39. Граф Г.К. Флот и война. Балт. флот в Первую мировую. – М., 2011. – 319 с.

40. Гребенкин И.Н. Русский офицер в годы мировой войны и революции 1914–1918 гг. – Рязань, 2010. – 398 с.

41. Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра.

– Кронштадт; М., 2005. – 320 с.

42. Гужва Д.Г. Военная периодическая печать русской армии в годы Первой мировой войны1914-1918 гг. – Новосибирск, 2009 – 167 с.

43. Гурко В. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914-1917 / Пер. с англ. – М., 2007. – 399 с.

44. Гущин Ф., Жебровский С. Пленные генералы российской императорской армии (1914-1917). – М, 2010. – 384 с.

45. Данилов О.Ю. Пролог «Великой войны» 1904-1914 гг. Кто и как втягивал Россию в мировой конфликт. – М., 2010. – 410 с.

46. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. – М., 2006. – 480 с.

47. Дикая дивизия. Сб. материалов. – М., 2006. – 262 с.

48. Дневники и документы из личного архива Николая II: Воспоминания. Мемуары. – 2003. – 368 с.

49. Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны: В 2 т. – М., 2008. – Т. 1: 624 с.; Т. 2: 624 с.

50. Долгоруков П.Д. Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916–1926. – 2007. – 367 с.

51. Еремин И.А. Западная Сибирь в период Первой мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.). – Барнаул, 2010. – 293 с.

52. Еремин И.А. Томская губерния как тыловой район России в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). – Барнаул, 2005. - 277 с.

53. Забытая война и преданные герои. – М., 2011. – 319 с.

54. Забытая война: Сб. лит. произв. – М., 2011. – 464 с.

55. Залесский К.А. Первая мировая война. Правители и военные. Биографический энциклопедический словарь. – М., 2000. – 576 с.

56. Земан З., Шарлау У. Кредит на революцию. План Парвуса / Пер. с англ. – М., 2007. – 319 с.

57. Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро, 2001. – 200 с.

58. Игнатьев П.А. Моя миссия в Париже / Пер. с фр. – М., 1999. – 335 с.

59. Иконникова Т.Я. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны. – Хабаровск, 1999. – 366 с.

60. Иконникова Т.Я. Военнопленные Первой мировой войны на Дальнем Востоке России (1914 - 1918 гг. – Хабаровск, 2004. – 177 с.

61. Катков Г.М. Февральская революция / Пер. с англ. – М., 2006. – 478 с.

62. Киган Д. Первая мировая война / Пер. с англ. – М., 2002. – 576 с.

63. Кирьянов Ю.И. Социально-политический протест рабочих России в годы Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.). – М., 2005. – 217 с.

64. Клей К. Король, кайзер, царь. Три монарших кузена, которые привели мир к войне / Пер. с англ. – М., 2009. – 320 с.

65. Китанина Т.М. Россия в Первой мировой войне 1914-1917 гг. Экономика и экономическая политика. Ч. 1. Экономическая политика царского правительства в первые годы войны. 1914-середина 1916 г. – СПб., 2003. – 143 с.

66. Клочков Д.А. Гвардейская пехота. Нижние чины. – М., 2011. – 333 с.

67. Кобылин В.С. Император Николай II и заговор генералов. – М., 2008. – 432 с.

68.Козлов Д.Ю. Нарушение морских коммуникаций по опыту действий Российского флота в Первой мировой войне (1914 1917) – М., 2013. – 536 с.

69. Коковцов В.Н. Из моего прошлого. – М., 2004. – 896 с.

70. Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. – М., 2010. – 664 с.

71. Комарова Т.С. Тем, кто в забвенье брошен был судьбой. Енисейская губ. в годы Первой мировой войны. – Красноярск, 2007. – 134 с.

72. Кормина Ж.В. Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа. – М., 2005. – 376 с.

73. Коробков Ю.Д. Между двуглавым орлом и красным знаменем. Общественное сознание российского общества в 1917 г.: Монография. – Магнитогорск, 2000. – 129 с.

74. Корсун. Н.Г. Кавказский фронт Первой мировой войны. – М.,

2004. – 686 с.

75. Костяев Э.В. Взгляды Г.В. Плеханова и меньшевиков на проблемы войны и мира в 1914-феврале 1917 года. – Саратов, 2011. – 417 с.

76. Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства. – М., Вече, 2010. – 333 с.

77. Кук Э. Убить Распутина. Жизнь и смерть Григория Распутина. – М., 2007. – 416 с.

78. Лемишевский П.В. Боевые действия на Балтике в годы Первой мировой войны. – СПб, 2005 – 215 с.

79. Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. 1914-1915. – М., 2003. – 448 с.

80. Лиддел Гарт Б.Г. Правда о Первой мировой войне. / Пер. с англ. – М., 2010. – 480 с.

81. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Первая мировая война в записках германского полководца. 1914-1918. – М., 2007. – 351 с.

82. Макдоно Дж. Последний кайзер: Вильгельм неистовый. – М., 2004. – 746 с.

83. Масоны и Февральская революция 1917 года. – М., 2007. – 352 с.

84. Матвеева Н.Л. Благотворительность и императорская семья в годы Первой мировой войны. – М., 2004. – 189 с.

85. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. – М., 2003. – 528 с.

86. Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире. Канун революции. – М., 2006. – 624 с.

87. Михайлов А.А. Псков в годы Первой мировой войны. 1914-1915гг. – Псков, 2012. – 344 с.

88. Мичурин А.Н. Политическая борьба в Государственном совете в годы Первой мировой войны. – СПб., 2010. – 324 с.

89. Нагорная О.С. Другой военный опыт. Русские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914-1922). – М., 2010. – 440 с.

90. Напалков А.В. Офицерский корпус Императорского флота

Балтийского моря в годы Первой мировой войны (август 1914 - февр. 1917 г.). – СПб., 2010. – 138 с

91. Нелипович С.Г. Кровавый октябрь 1914 года. – М., 2013. – 800 с.

92. Нешкин М.С., Шабанов, В.М., Гаркуша И.О. Авиаторы – кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 гг. – Биогр. справочник. – М., 2006. – 359 с.

93. Олейников. А.В. Дарданелльская операция 19 февраля 1915 г. – 9 января 1916. – Астрахань, 2009. – 184 с.

94. Олейников А.В. Россия и союзники в Первой мировой войне 1914-1918 гг. – Астрахань, 2009. – 231 с.

95. Оськин М.В. Брусиловский прорыв. – М., 2010. – 416 с.

96. Оськин М.В. Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой мировой войне. – М., 2009. – 446 с.

97. Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные, дезертиры, беженцы. – М., 2011. – 448 с.

98. Оськин М.В. Первая мировая война. – М.. 2010. – 367 с.

99. Павлов А.Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах. – М., 2011. – 224 с.

100. Павлов А.Ю. Скованные одной цепью: Стратегическое взаимодействие России и ее союзников в годы Первой мировой войны (1914-1917). – СПб., 2008. – 189 с.

101. Пестушко Ю.С. Российско-японские отношения в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). – Хабаровск, 2008. – 236 с.

102. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале XX века: Предпринимательство и политика. – М.,2002. – 440 с.

103. Петровичева Е.М. Земства центральной России в период Первой мировой войны – М., 2001. – 125 с.

104. Первая мировая война. Версальская система и современность. – СПб., 2012. – 350 с.

105. Первая мировая война: Взгляд спустя столетие: Материалы междунар. конф. «Первая мировая война и совр. мир». (26-27 мая 2010 г., Москва). – М., 2011. – 559 с.

106. Первая мировая война: Пролог XX века. – М., 1998. – 700 с.

107. Политические партии и общество в России 1914-1917 гг.: Сб. статей и документов. – М., 2000. – 328 с.

108. Полнер Т.И. Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова. - М., 2001. - 464 с.

109. Посадский. А.В. Крестьянство во всеобщей мобилизации армии и флота 1914 года: (На материалах Сарат. губернии). – Саратов, 2002. – 159 с.

110. Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: материалы Международной научной конференции 7-8 сентября 2004 года. – М., 2006. – 388 с.

111. Постников Н.Д. Первая армия Ранненкампфа. Битва за Восточную Пруссию. – М., 2012. – 224 с.

112. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. – М.,2004 – 366 с.

113. Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических исследованиях. Изд. 2-е, доп.: учеб. пособие для вузов. – Екатеринбург, 2008. – 210 с.

114. Пузырев. В.П. Торговый флот России в Первой мировой войне. – 1914-1917 гг. Ист. очерк. – М., 2006. – 217 с.

115. Пылькин В.А. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи на Рязанской земле в годы мировой войны и революции. – М., 2013. – 236 с.

116. Ранненкампф В.Н. Воспоминания. – М., 2013. – 302 с.

117. Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания министра. В 2 томах. – М., 1999. – Т. 1: 576 с.; Т. 2; 528 с.

118. Романов А.Н. Военный дневник великого кн. Андрея Владимировича Романова (1914-1917). – М., 2008. – 448 с.

119. Рохмистров В.Г. Авиация Великой войны. — М., 2004. – 730,[6] с.

120. Россия и Первая мировая война: Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума, 1-5 июня 1998 г. / Отв. ред. Н.Н. Смирнов. – СПб, 1999. – 372 с.

121. Россия: Международное положение и военный потенциал в середине XIX – начале XX века. – М., 2003. – 363 с.

122. Руга В., Кокарев А. Повседневная жизнь Москвы: Очерки гор. быта в период Первой мировой войны. – М., 2011. – 679 с.

123. Русские философы о войне. – М., 2005. – 495 с.

124. Рыжкова Н.В. Донское казачество в войнах начала XX века. – М.: Вече, 2008. – 448 с.

125. Рязанская книга памяти Великой войны 1914-1918. Т. 1. – Рязань, 2110. – 900 с.

126. Салова С. Буржуазия России в годы Первой мировой войны. 1914-1917. – Самара, 2005. – 243 с.

127. Самохин. К.В. Тамбовское крестьянство в годы Первой мировой войны. – СПб.,2004. – 121 с.

128. Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX в: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. – М., 2006. – 288 с.

129. Сенявская Е.С. Психология войны в XX в: Исторический опыт России. – М.: РОССПЭН, 1999. – 383 с.

130. Сергеев Е. Ю. Российская ассоциация историков Первой мировой войны: задачи и перспективы // Великая война. 1914-1918 гг. Альманах Российской ассоциации историков Первой мировой войны. – М ., 2011. – Т. 1. – С. 5–10.

131. Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны: Бумаги А.Н.Яхонтова (записи заседаний и переписка). – СПб., 1999. – 559 с.

132. Спиридович А.И. Великая война и февральская революция. Мемуары. – М., 2004. – 720 с.

133. Стариков Н. 1917. Кто «заказал» Россию? Главная тайна XX века. – 2009. – 416 с.

134. Стронгин В.Л. Александр Керенский. Демократ во главе России. – М.: Владимир: ВКТ, 2010. – 399 с.

135. Степанов А.И. Россия в Первой мировой войне: геополитический статус и революционная смена власти – М., 2000. – 219 с.

136. Стоун Н. Первая мировая война: Краткая история / Пер. с англ. – М., 2010. – 219 с.

137. Судавцов Н.Д. Земское и городское самоуправление России

в годы Первой мировой войны. – М.: Ставрополь, 2001. – 719 с.

138. Сухомлинов В.А. Воспоминания. – М., 2005. – 623 с.

139. Терентьев А.А. Патриотизм и русское национальное самосознание. – Н. Новгород, 2005. – 171 с.

140. Терешина Е.П. Отношение населения Поволжья к Первой мировой войне. (По материалам период. печати 1914-1917 гг.). – Набережные Челны, 2009. – 189 с.

141. Толстой И.И. Дневник. 1906-1916. – СПб., 1997. – 729 с.

142. Трошина Т.И. Великая война... Забытая война... Архангельск в годы Первой мировой войны: (1914-1918). – Архангельск, 2008. – 222 с.

143. Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905-1917 гг.). – М., 2012. – 309 с.

144. Чапкевич Е.И Русская гвардия в Первой мировой войне. – Орел, 2003. – 192 с.

145. Чеченский полк «Дикой дивизии». – Назрань, 2009. – 234 с.

146. Чувардин Г.С. Офицеры русской гвардии. Образ жизни, привычки, традиции. – Орел, 2005. – 264 с.

147. Уткин А.И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. – Смоленск, 2000. – 636 с.

148. Уткин А.И. Первая мировая война. — М., 2002. – 672.с.

149. Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения. – М., 2008. – 864 с.

150. Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. – М., 2012. – 336 с.

151. Цыкалов Д.Е. Кто мы в этой старой Европе? «Россия и Запад» в отечеств. публицистике Первой мировой войны (июль 1914 - февр. 1917 г.). – Волгоград, 2011. – 115 с.

152. Чеботарев Г. Мемуары профессора Принстонского университета, в прошлом казачьего офицера. 1917-1919 / Пер. с англ. – М.. 2007. – 446 с.

153. Черников И.И. Гибель империи. – М., СПб., 2002. – 640 с.

154. Чертищев А.В. Политические партии России и массовое политическое сознание действующей русской армии в годы Первой мировой войны (июль 1914 - март 1918 гг.). – М., 2006. – 848 с.

155. Шамбаров В.Е. За веру, царя и Отечество! —М.,2003. – 768 с.

156. Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. – М., 2003. – 480 с.

157. Шацилло В.К. Последняя война царской России. – М., 2010. – 352 с.

158. Шацилло, К.Ф. От портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. – М.,2000. – 399 с.

159. Шевцова Г.И. Россия и Сербия. Из истории рос.-серб. отношений в годы Первой мировой войны. (гуманит. аспект). – М., 2010. – 199 с.

160. Шишов А.В. Голгофа Российской империи. – М., 2005. – 448 с.

161. Шишов А.В. Загадки Первой мировой войны. – М. 2005. – 319 с.

162. Шишов А.В. Персидский фронт (1909 - 1918). Незаслуженно забытые победы. – М., 2010. – 555 с.

163. Шевырин В.М. Власть и общественные организации в России (1914–1917). – М., 2003. – 222 с.

164. Шубин А.В. Россия в Первой мировой войне: Историография проблемы (1914–2000). – М., 2001. – 182 с.

165. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М., 2002. – 352 с.

166. Ясинский И.И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. – М., 2010. – Т.1: 720 с.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА:
ВЗГЛЯД СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ:
Доклады и выступления участников международной конференции «Первая мировая война и современный мир».
– М.: Изд-во МНЭПУ, 2011. – 560 с.
(Реферат)

В книге представлены различные точки зрения ученых-обществоведов – участников международной конференции, организованной Международным независимым эколого-политологическим университетом (Академия МНЭПУ), Государственным историческим музеем и Российской ассоциацией историков Первой мировой войны, на события и причины Первой мировой войны.

Во вступительном слове к участникам конференции ректора Академии МНЭПУ С.С. Степанова было отмечено, что историческое значение Первой мировой войны для современного российского общества достаточно неоднозначно. «Изучение социальных процессов в отличие от изучения истории отдельных личностей или целиком войсковых операций было заторможено на долгие годы классовым подходом к изучению истории Российской империи» (с. 3). В отличие от зарубежной историографии, где события 1914–1918 гг. интегрированы в концепцию развития Европы, события Первой мировой войны в бывшем СССР традиционно воспринимались только как создавшие предпосылки к революционным событиям 1917 г.

Современный миропорядок и его новые правила, возникшие на основе итогов Первой мировой войны, продолжил С.С. Степанов, во многом оказались приемлемым для цивилизованного мира разрешением последующих мировых и межэтнических конфликтов и кризисов. Понимание этого факта, подчеркнул выступавший, подталкивает историков, экологов, политологов, культурологов и других специалистов к более пристальному изучению предпосылок возникновения современного мира.

Материалы конференции включают шесть больших разделов, в которых рассматриваются такие темы, как международные отношения накануне и во время Первой мировой войны; Россия и Первая мировая война; проблемы строительства и применения вооруженных сил в Первой мировой войне; Первая мировая война и создание нового миропорядка. Получили освещение и духовно-нравственные аспекты Первой мировой, как-то: человеческое измерение войны, ее демографические и социально-экологические последствия. Поскольку тематика настоящего сборника рефератов и обзоров ограничена вопросами участия России в Первой мировой войне, предполагается рассмотреть доклады, непосредственно связанные с данной тематикой.

Первая мировая война – пролог истории XX в., так обозначил тему доклада, открывшего конференцию, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны, д.и.н., профессор Е.Ю. Сергеев (ИВИ РАН). Он подчеркнул, что никогда ранее сам характер и последствия вооруженного столкновения не приобретали таких катастрофических масштабов. Никогда прежде так тесно не переплетались социальные, политические, экономические, духовные факторы, повлиявшие на судьбы десятков миллионов людей. «38 государств, расположенных на всех континентах планеты, с населением более 1,5 млрд. чел. приняли участие в беспрецедентных по накалу и продолжительности сражениях, которые никогда еще не проходили сразу в трех физических средах: на суше, море и в воздухе от Арктики до Антарктиды и от Тихого до Атлантического океана» (с. 7).

Война привела к качественным изменениям социальной структуры практически всех государств, особенно членов Антанты и

Четверного союза. Фактически она подготовила ротацию правящего слоя, выдвинув на политическую авансцену многих харизматических лидеров новой генерации – от Мустафы Кемаля в Турции до Бенито Муссолини в Италии. Доминирование «аристократии крови» в высших эшелонах власти подошло к концу: «На смену пришли элиты мантии и денежного мешка – эффективные бюрократы и удачливые финансово-промышленные магнаты» (с. 8). К положительным моментам общественной трансформации автор причисляет достижение равноправия мужчин и женщин и вовлечение в активную социально-политическую деятельность миллионов молодых людей, которые впервые в истории получили реальные возможности влиять на окружающую их действительность.

Е.Ю. Сергеев детально рассматривает этапы проведения исследований по истории войны; освещает новые тенденции, характерные для новейших исследований по проблемам возникновения, основных этапов и значимых последствий Первой мировой войны как для России, так и для других государств.

В 1920-е – 1930-е годы, когда в памяти людей еще были свежи ужасы войны, главный акцент делался на разработке проблемы ответственности за ее развязывание, а также на тщательном анализе стратегии и тактики ведения боевых действии на суше, море и в воздухе. В 1960-х – 1970-х годах сформировался устойчивый интерес историков к заполнению существовавших историографических лакун, обусловленных режимом секретности, под действие которого подпадало большинство архивных материалов. Были «заново проанализированы все важнейшие внешнеполитические решения, боевые операции и дипломатические маневры держав. Исследователи впервые обратили внимание на политику нейтральных государств, ситуацию с обеспечением прав человека на войне, формирование и эволюцию представленческих образов и систем на уровне элитарного и массового сознания, деятельность социальных и конфессиональных групп, тесную взаимосвязь фронта и тыла и т.д.» (с. 10–11).

К концу XX в. наметился принципиально новый этап в рассмотрении магистральных тенденций исторического прошлого, не исключая и события 1914–1918 гг. «На наших глазах, –

свидетельствует Е.Ю. Сергеев, – происходит визуализация источников, открываются возможности для контент– и ивент–анализа различных эпизодов Великой войны, возникает перспектива использования методов моделирования реальных исторических процессов, подкрепленных изучением колоссальных массивов статистической информации с применением новейшего компьютерного программного обеспечения» (с. 11).

В докладе раскрывается, что означало для изучения проблем Первой мировой войны использование междисциплинарной методологии, творческое применение на практике исследовательских процедур, характерных ранее для других смежных наук: политологии, социологии, культурологии, психологии, географии и т.п. Современных авторов привлекает не просто описание боевых действий, а анализ эмоционально-психологического состояния людей в рамках фронтовой повседневности. Жизнь в окопах дополняется изучением стратегий выживания в условиях тыла, госпиталя, лагеря для военнопленных или интернированных лиц.

Другой иллюстрацией междисциплинарности, по мнению Е.Ю. Сергеева, может служить интерес историков к геостратегическим конструктам, которыми руководствовались элитные группы (политики, дипломаты, генералитет) накануне, в ходе различных этапов и после окончания войны. Изучение этих конструктов приводит историков к необходимости анализировать сам процесс принятия решений и их реализации. Е.Ю. Сергеев отмечает, что методы когнитивного картирования, разработанные англо-американскими психологами, все чаще применяются сегодня и отечественными специалистами. К этой же группе исследователей, по его мнению, следует отнести тех авторов, которые обратились к анализу богатейшего идейного наследия русской военной мысли, яркие представители которой опубликовали немало интересных трудов будучи изгнанными за пределы России.

В связи с геополитическими аспектами истории Первой мировой войны Е.Ю. Сергеев указывает и на проявившуюся тенденцию анализировать проблемы магистрализации пространства, использования логистических схем переброски войск, вооружения и

боеприпасов между различными театрами военных действий на значительные расстояния, применение методов партизанской борьбы с учетом этноконфессионального фактора (Чехословацкий корпус в России, арабские отряды в Палестине, повстанческое движение в Средней Азии и т.д.).

Еще одна заметная тенденция в исторических исследованиях последних лет, по мнению Е.Ю. Сергеева, – это преодоление традиционного европоцентризм а в изучении периода 1914–1918 гг., когда авторы не ограничиваются описанием операций воюющих держав на театрах военных действий, расположенных в Старом Свете, но и отслеживают изменение стратегии и тактики государств-участников войны на так называемых «второстепенных» фронтах, которые, тем не менее, не только испытывали воздействие ситуации в Европе, но и сами оказали непосредственное влияние на ход решающих сражений.

Важной отличительной чертой современного этапа изучения Первой мировой войны является повышенный интерес специалистов к ее итогам и последствиям, особенно с точки зрения формирования нового миропорядка в рамках Версальско-Вашингтонской системы. По мнению Е.Ю. Сергеева, не может считаться абсолютно новым, но завоевывает себе всё больше сторонников рассмотрение хронологического отрезка 1914–1945 гг. как целостного исторического периода мировых войн и революционных трансформаций, итогом которых стала победа машинной цивилизации и завершение формирования индустриального строя в крупнейших странах. Е.Ю. Сергеев констатирует увеличение количества трудов не только по политическим, но и по экономическим, юридическим, социально-психологическим, социокультурным и другим последствиям первого глобального конфликта в истории человечества. Война теперь рассматривается рядом авторов и как социальный феномен или даже явление культуры, что, однако, не означает снижения интереса историков к изучению таких достаточно традиционных политических институтов, как дипломатическая или военная служба.

Особого упоминания, по мнению Е.Ю. Сергеева, заслуживают новые оценки роли Восточного фронта как одного из важнейших

участков вооруженной борьбы на суше, море и в воздухе. Тема России приобретает иное, чем прежде, звучание у большинства отечественных и особенно зарубежных специалистов. Как отмечают историки, военные усилия России, несмотря на общую техническую отсталость страны, отсутствие в ней развитых демократических институтов и ошибки генералитета, а также досрочный выход из войны, всё же предопределили срыв германо-австрийских планов молниеносной победы и способствовали конечному поражению Четверного союза в длительном противостоянии с Антантой. В заключение Е.Ю. Сергеев отмечает, что, несмотря на бесспорные достижения историографии, сохраняет свою актуальность задача реконструкции объективной, целостной, полифонической картины этого эпохального события новейшего времени.

Раздел «Россия и Первая мировая война» открывает доклад д.и.н. профессора В.К. Шацилло (ИВИ РАН), в котором рассматривается вопрос о планах германского военно-политического руководства в конце 1914 – первой половины 1915 гг. относительно возможного заключения сепаратного мира с Россией. Стремление Берлина наладить связи с Россией и начать с ней переговоры о мире докладчик объясняет несколькими причинами, но безусловно главную роль, полагает он, здесь играло стратегическое положение противников на полях сражений. Крах молниеносной войны имел значительно более важные последствия для Германии и ее союзников, чем для стран Антанты. Положение на Восточном фронте оставалось для немцев сложным. Несмотря на непростую ситуацию с вооружением, первыми в 1915 г. наступательные операции на северо-западе Восточного фронта начали русские части. Важные события происходили в начале зимы 1915 г. и в полосе Юго-Западного фронта, где 22 марта была занята сильно укрепленная и стратегически важная австро-венгерская крепость Перемышль. Создавалась угроза выхода российских войск на Венгерскую равнину. В.К. Шацилло отмечает, что во второй половине 1915 г. положение на Восточном фронте становилось всё более благоприятным для Германии. Изменение стратегической ситуации на этом театре военных действий заставило германского канцлера Бетман-Гольвега пересмотреть свое отношение к

сепаратному миру с Россией, хотя от самой возможности заключения подобного мира германский канцлер решил не отказываться.

Что касается позиции России, то В.К. Шацилло подчеркивает, что в Петрограде не думали о сепаратном мире с врагом и, несмотря на военные неудачи в Польше и Прибалтике, были готовы продолжать войну до победного конца. Россия проявила себя верным членом Антанты и не только упорно сражалась на всех фронтах, но и наотрез отказалась вести какие-либо переговоры о мире за спиной своих союзников. В.К. Шацилло заключает, что нет ни одного документального свидетельства того, что кто-то из высшего руководства в Петрограде был склонен пойти на мировую с Берлином (с. 90)

К.и.н. И.Б. Белова (Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского) на источниках из центральных и местных архивов рассматривает формы и методы деятельности социалистов в российской провинции в период Первой мировой войны. Их деятельность была направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки, однако, согласно выводам докладчицы, не получила понимания и поддержки большинства населения, включая рабочих.

Профессор современной истории Питер Уолдрон (Школа истории университета Ист Англия) рассматривает вопрос организации системы здравоохранения в России в годы Первой мировой войны, анализирует различные аспекты деятельности земств и городских органов местного управления. Он приходит к выводу, что, несмотря на нежелание центрального правительства привлекать общественные структуры России к официальным военным мероприятиям, в конце концов оно было вынуждено признать, что успешное завершение войны невозможно без поддержки общественных организаций. С началом боевых действий армия столкнулась с тем, что раненых были не десятки, а сотни тысяч. Военное министерство, отмечает П. Уолдрон, было не в состоянии самостоятельно организовать транспортировку и лечение людей, и было маловероятно, что оно может переломить ситуацию в короткие сроки. В таких обстоятельствах земства предложили свое содействие, что дало им

возможность расширить свое влияние. И Земский союз, и Союз городов очень быстро распространили свою деятельность вплоть до линии фронта. Они оснащали госпитали, перегрузочные станции, обеспечивали их персоналом, вели большую работу по эвакуации раненых, организовывали госпитали в тылу (с. 118). Столь активная деятельность привела к тому, что репутация местных учреждений России значительно возросла, приходит к выводу П. Уолдрон.

В докладе Энтони Дж. Хейвуда, д-ра философии (университет Абердина, Великобритания) освещаются проблемы железнодорожного сообщения в царской России и ставится под вопрос общепризнанное мнение о его плохом состоянии накануне войны и кризисе, разразившемся к 1916 г. Британские историки, подробно изучавшие эту проблему, пришли к выводу, что железнодорожная сеть в 1913 г. была в относительно хорошем состоянии, с определенным запасом пропускной способности. Однако, считает Э.Дж. Хейвуд, у военного руководства с началом войны были все основания для опасений, поскольку запланированные работы по улучшению железнодорожного сообщения, необходимые для поддержания наступательной стратегии русской армии, были еще далеки от завершения. При этом в течение 1916 г., а возможно и в течение нескольких месяцев 1917 г. железные дороги функционировали на уровне, значительно превышающем их рекордный уровень работы в мирное время. Хотя, подчеркивает Э.Дж. Хейвуд, статистические данные военного времени весьма ненадежны по очевидным причинам, не полны и имеют ошибки и несоответствия, тем не менее при оценке транспортного кризиса следует учитывать разницу между объемом фактических перевозок и увеличивающимися требованиями к пропускной способности. Спрос на железнодорожный транспорт в течение 1916 г. значительно превысил возможности железных дорог.

О.Ю. Стародубова (Магнитогорский государственный университет) проанализировала образ русского генералитета времен Первой мировой войны в советской художественной литературе 1940-х годов. Отмечается, что в довоенное время тема Первой мировой была востребована советскими писателями. Содержание произведений во многом зависело от международной конъюнктуры. Ситуация,

сложившаяся в связи с началом Великой Отечественной войны, потребовала от власти в короткие сроки найти средства и механизмы внедрения идеологических установок, способных объединить и мобилизовать советское общество для борьбы с внешней опасностью. По-новому зазвучала и приобрела актуальность тема Первой мировой войны как последнего русско-германского противостояния. О.Ю. Стародубова свидетельствует, что историческая ретроспектива войны с немцами перестала носить классовый характер. Изменения были вызваны резкой сменой акцентов в изображении врага. «Созданный «коминтерновский» образ противника, который был актуален в довоенной литературе, в первые дни Великой Отечественной войны не выдержал испытания на достоверность» (с. 143). В контексте поощрения ненависти к фашистским захватчикам произошел перенос образа фашиста на кайзеровского солдата. Примером героизма русской армии стал Брусиловский прорыв, который удачно вписался в пропагандистский канон как яркая иллюстрация солдатского героизма и подавался теперь как событие мирового значения, сорвавшее планы немецких и австрийских империалистов.

К.и.н. В.В. Тихонов (ИРИ РАН) рассматривает эволюцию настроений российских историков в период Первой мировой войны. Историки, как профессиональная группа внутри интеллектуальной элиты, отразили основные тенденции общественных настроений, встретив начало войны патриотическим подъемом, но постепенно разочаровались в некомпетентных действиях правительства и командования.

В разделе «Проблемы строительства и применения вооруженных сил в Первой мировой войне» помещен доклад О.Е. Алпеева, посвященный конфликту в русском Генеральном штабе в 1912–1913 гг. и его влиянию на военное планирование перед Первой мировой войной. Анализируя просчеты Главного управления Генерального штаба, ликвидировавшего оппозицию в округах, О.Е. Алпеев указывает, что они привели «к торжеству порочной концепции распыления вооруженных сил на обоих стратегических направлениях» (с. 200). Русский план войны против Германии и Австро-Венгрии стал

слишком рискованным и не отвечающим действительной обстановке, заключает О.Е. Алпеев. Генерал-лейтенант в отставке, к.и.н., профессор В.Т. Иминов рассмотрел организацию русской армии, ее стратегию и тактику в ходе Первой мировой войны. Начальник управления Центра военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, к.и.н., вице-президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны Д.Ю. Козлов на основе широкого круга архивных документов и источников личного происхождения проанализировал развитие структуры и функций органов стратегического управления Российским флотом – Военно-морского управления при Верховном главнокомандующем и Морского штаба Ставки.

Работа д.и.н., профессора П.В. Акульшина и к.и.н. И.Н. Гребенкина (Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина) посвящена малоизученному аспекту – системе ценностей офицерства и ее изменениям под действием трансформационных процессов, происходивших в российском обществе начала XX в. В условиях войны пересмотра потребовали даже такие самодовлеющие ценности, как личная храбрость и личный пример офицера, поскольку демонстративное презрение к опасности и даже бравада приводили к тому, что из строя выбывал наиболее боеспособный элемент (с. 228). Кроме того, бесстрашие и готовность к самопожертвованию нередко подменяли тактическую грамотность и затеняли недостатки профессиональной подготовки. Авторы отмечают, что в боевых условиях особенно негативную роль сыграли внутрикорпоративная солидарность, высокая конфликтность, отсутствие доверия и неумение конструктивно сотрудничать, что сказывалось на качестве и результатах выполнения боевых задач. Значительная часть кадрового офицерства, столкнувшаяся с военной реальностью, испытывала глубокое разочарование и психологический кризис, что стало основой для распространения в офицерской среде оппозиционных настроений и недоверия к верховной власти.

В разделе «Человеческое измерение Первой мировой войны» помещена работа протоиерея о. Леонида (Калинина), посвященная деятельности представителей военного духовенства православной

церкви в годы Первой мировой войны. Затронуты такие аспекты, как поддержание морального духа действующей армии, просветительская работа, оказание помощи по созданию госпиталей, а также организация благотворительной помощи солдатским семьям. Проблему оказания духовно-религиозной помощи беженцам Первой мировой войны (на примере украинских губерний) затронули к.и.н. Л.Н. Жванко (Харьковская национальная академия городского хозяйства) и А.А. Нестуля. К.и.н. С.В. Букалова (Орловская региональная академия государственной службы) на материалах «Орловских епархиальных ведомостей» воссоздает взгляды провинциального православного духовенства на причину Первой мировой войны. К.и.н. Д.В. Гужва (Институт военной истории МО РФ) анализирует место и роль военной периодической печати русской армии в борьбе за солдатские массы в межреволюционный период (февраль – октябрь1917 г.).

Работа Колин М. Мур (университет Индианы, Блумингтон, США) посвящена рассмотрению отношения русского крестьянства к войне через призму полицейских донесений о распространявшихся среди крестьянства слухах о переделе земли после войны. Эти слухи, по мнению К.М. Мур «способствовали лучшему пониманию крестьянами смысла патриотизма во время Первой мировой войны» (с. 356–357).

И.Е.Эман

ГАТРЕЛЛ П.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.

GATRELL P.

RUSSIA'S FIRST WORLD WAR: A SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY.
– Harlow, England: Longman, 2005. – XX, 318 p.
(Реферат)

Монография профессора Манчестерского университета П. Гатрелла, состоящая из введения, 11 глав и заключения, является комплексным исследованием социально-экономического положения России в годы Первой мировой войны.

Как отмечает П. Гатрелл, участие России в Первой мировой войне продолжалось примерно 3 года с четвертью – с 19 июля 1914 г. до 26 октября 1917 г. (по старому стилю). За это время в военных действиях приняли участие примерно 15 млн. российских солдат; около 5 млн. из них побывали в плену, 2 млн. погибли на поле боя, от ран или инфекционных заболеваний. При этом уже в первый год войны потери русской армии превысили 250 тыс. человек.

Первая мировая война в силу своей продолжительности, масштаба, колоссальных запросов со стороны вооружённых сил оказалась чудовищно дорогим делом. По словам П. Гатрелла,

«совокупные расходы, связанные с войной, составили для России 38650 млн. руб.; при этом на русско-японскую войну в своё время было потрачено 2295 млн. руб. Иначе говоря, расходы на войну были эквивалентны всем правительственным расходам за 12,4 мирных года», исходя из показателей госбюджета на 1913 г. Около 62% этих средств были покрыты внутренними и иностранными ссудами (последние сотавили примерно 20% всех расходов России на войну). «Остальное было профинансировано за счёт свободного баланса (7%) и налогообложения» (с. 148–149).

Военная верхушка и высшая бюрократия, начиная с 1915 г., оказались под огнём критики в парламенте и в обществе в целом. Огромные потери, вынужденные перемещения миллионов людей, «политическая суматоха» лета 1915 г. привели лишь к усилению давления со стороны общественного мнения на власть, которая оказалась не в состоянии сделать что-либо для изменения общественных настроений. Доверие к правящей элите стремительно падало, чему способствовали слухи о влиянии «темных сил» на императорскую семью; в этом влиянии общество видело одну из причин не только военных неудач, но и продовольственного и топливного кризисов.

Большинство европейских держав изначально не имело адекватного представления о том чудовищном напряжении, которое привнесет война в социальную и политическую ткань общества; при этом правительства, как и военные стратеги, не рассчитывали на затяжную войну. Российская империя в этом отношении не была исключением. К тому же размеры страны и колоссальные запасы трудовых ресурсов давали основание значительной части элиты рассчитывать на то, что, даже если кампания примет затяжной характер, Россия всё равно сможет её выдержать. Весьма характерной П. Гатреллу представляется позиция выдающегося экономиста М. Туган-Барановского, который утверждал, что более развитые в промышленном отношении державы типа Германии куда сильнее пострадают от затяжной войны, чем остававшаяся преимущественно аграрной страной Россия. Однако гиперинфляция и проблемы, связанные с продовольственным обеспечением, достаточно быстро

продемонстрировали несостоятельность подобного рода прогнозов.

По мнению Гатрелла, «солдаты в Российской империи шли на войну с теми же чувствами, что и солдаты других воюющих стран. Они сражались в большей степени за своих товарищей, чем за царя. Они хотели избавить родную землю от вражеских войск» (с. 33). Конечно, правительственная пропаганда играла определённую роль: используя новые технологии воздействия на общественное сознание, она старалась «объединить фронт и тыл», рассказывая о героизме и самопожертвовании русских воинов. Однако чем дальше, тем больше патриотические чувства уступали место естественной озабоченности теми потерями, которые несла Россия; и эту тревогу правительство было не в силах смягчить.

Первый этап войны показал как сильные, так и слабые стороны государственного механизма Российской империи. Мобилизация военнообязанных прошла относительно гладко, однако уже в первые месяцы на разных участках фронта ощущалась нехватка вооружения и боеприпасов. Эти проблемы в скором времени породили разговоры о закулисных договорённостях промышленников и представителей властных структур с врагом.

Гатрелл не считает правильным преувеличивать глубину кризиса весны-лета 1915 г.; однако по завершении первого года войны от былого оптимизма уже мало что осталось. Неудачные кампании 1914–1915 гг. подорвали репутацию российского генералитета, и только блестящий успех Брусилова в 1916 г. позволил Верховному главнокомандованию, оказавшемуся «в лучах славы» этого военачальника, до некоторой степени вернуть утраченное общественное доверие.

Переход части государственной территории под контроль врага породил вполне объяснимую критику и даже гнев в адрес властей. Особенно болезненно воспринималась потеря известных городов, например, Варшавы; поползли слухи о том, что со временем придётся сдать Киев и даже Петроград.

Война в очередной раз подтвердила, что точек соприкосновения и взаимного доверия между государственными структурами и «образованным обществом» в России было явно недостаточно. В то же

время Гатрелл считает недопустимым и преувеличивать, тем более абсолютизировать этот раскол. В годы войны, по его мнению, «сложилось своеобразное разделение труда между государством, агенты которого несли ответственность за снабжение армии вооружением и боеприпасами, и союзами земств и городов, которые приняли на себя значительную долю ответственности за помощь гражданскому населению, заботу о раненых, а также за удовлетворение некоторых сугубо военных потребностей, например обмундирования для солдат» (с. 55). Помощь беженцам также осуществлялась не только правительственными структурами, но и общественными организациями; некоторую роль в этом деле играла и частная инициатива. Наконец, в годы войны многие специалисты добровольно перешли на государственную службу – прежде всего, по мнению П. Гатрелла, это относится к медикам, юристам и статистикам.

В то же время, как отмечает автор, наладить по-настоящему конструктивный диалог с правительством земству, органам городского самоуправления и общественным организациям удалось лишь в деле помощи фронту; при этом стремление общественности и муниципальных структур взять на себя полную ответственность хотя бы за помощь беженцам вызывало весьма настороженную реакцию властей. В свою очередь, бездействие правительства в отношении значительной части вынужденных переселенцев, оставшихся без ощутимой поддержки, порождало волну критики в адрес правительства. В такой ситуации легитимность муниципальных структур и общественных организаций, поддержка их общественным мнением существенно возрастали. Однако, по убеждению П. Гатрелла, эти структуры не смогли нарастить свой политический капитал до такой степени, чтобы бросить вызов режиму. Поэтому «они скорее стали бенефициарами кризиса царской власти зимой 1916 г., чем его инициаторами или подстрекателями» (с. 55).

Как это ни парадоксально, те методы, которые использовала власть для мобилизации общественной поддержки – разного рода церемонии, показ кинофильмов, издание пропагандистских брошюр и т.д. – скорее работали на ее разрушение. Пропаганда предоставляла

читающей публике основания для размышлений над значением тех или иных сражений, масштабами человеческих потерь и ущерба, понесённого Россией в результате войны. Чрезмерно агрессивная провоенная пропаганда со стороны Русской православной церкви вызывала, по мнению Гатрелла, отторжение у значительной части паствы, тем самым отдаляя её от церкви.

С каждым месяцем таяла и поддержка Николая II, особенно после того, как в августе 1915 г. царь возложил на себя обязанности Верховного главнокомандующего. Это решение не вызвало ожидаемой поддержки ни в обществе, ни в армии; представители генералитета в конфиденциальных беседах подвергали сомнению полководческие таланты императора; по их мнению, разделявшемуся огромной частью общества, национальным интересам способствовало бы преобладание принципа профессионализма над династическими соображениями. К чести Николая II, он приложил огромные усилия к тому, чтобы не на словах, а на деле быть ближе к фронту, чем к находившейся во власти интриг столице. Но, несмотря на это, «запас лояльности неумолимо таял». Самые искренние патриоты стали размышлять о новом лидере или иных формах национального лидерства, чтобы спасти страну от надвигавшейся катастрофы.

Российская буржуазия в годы войны оставалась фрагментированной. Видные промышленники и финансисты, как и прежде, активно взаимодействовали с правительством. Многие представители крупной и средней буржуазии участвовали в деятельности военно-промышленных комитетов. Но в целом «предпринимательский средний класс был не в состоянии консолидироваться», в частности из-за того, что региональные и этнические различия были в России слишком глубоко укоренены. А «культурная и политическая дистанция между предпринимателями и низшими стратами оставалась непреодолимой. Интеллигенция испытывала отвращение к коммерсантам и не скрывала этого» (с. 56).

Анализируя деятельность военно-промышленных комитетов, Гатрелл подчёркивает прежде всего наличие давних и достаточно устойчивых связей между крупным капиталом и государством. Поэтому, на его взгляд, военно-промышленные комитеты стремились

не к усилению роли частного капитала, а пытались внести свой вклад в общее дело в условиях военного времени. Их деятельность в некоторой степени дополняла правительственную политику «индустриальной мобилизации», стремясь задействовать при этом не использованный властями потенциал среднего и мелкого бизнеса. Они исходили из того, что такая мобилизация является слишком важным делом, чтобы доверять его одной лишь бюрократии. Это стремление внести вклад в общее дело охватило все слои общества, и зачастую оно перевешивало частные и классовые интересы. Однако и в этих условиях тесный альянс государства и крупного капитала сохранялся.

Нужды военного времени потребовали также «мобилизации специалистов», экспертного знания. Традиционно российская интеллигенция считала своей миссией служение народу, а не власти, и потому недоверие к правительственным структурам сохранялось и в новых условиях. Со своей стороны, правительство не было готово к кардинальному повышению роли экспертов при принятии управленческих решений. Но всё же война дала возможность учёным, инженерам и другим представителям нарождавшейся «технократической страты» добиться определённого повышения своей роли в управлении.

Высшая бюрократия выступала против любых попыток создания некоего общенационального органа, ответственного за экономическую мобилизацию, опасаясь, что такая структура будет использована «образованным обществом» для вмешательства в процесс принятия ключевых политических решений. Большие надежды возлагались на Особое совещание по обороне государства; некоторые его члены надеялись, что оно станет своего рода «экономическим Генштабом». Этим надеждам не суждено было осуществиться. Особое совещание стало структурой, оценивавшей возможности военных заводов и, в соответствии с этим, распределявшей правительственные военные заказы. Тем не менее, по мнению Гатрелла, «работа в рамках региональных подразделений этого агентства, как и в структурах других Особых совещаний, дала возможность многим теоретически грамотным специалистам приобрести практический опыт в сфере управления экономикой, который они в некоторой степени смогли

использовать после революции» (с. 103–104).

Несмотря на то, что российская промышленность достигла немалых успехов к 1914 г., война предъявила ей принципиально новые требования. По мнению Гатрелла, со многими из этих вызовов индустрия справилась в ходе войны. Уже в 1915–1916 гг. было существенно увеличено производство боеприпасов и вооружения, что потребовало от промышленников значительного наращивания инвестиций в основной капитал. В эти же годы происходило широкое внедрение поточного производства, которое должно было не просто помочь индустрии справиться с вызовами военного времени, но и обеспечить укрепление позиций российской индустрии как на внутреннем, так и на внешних рынках в послевоенный период. Российские предприниматели модернизировали старые и открывали новые производства, предвкушая доходы от правительственных военных заказов и новые рынки для своей продукции после завершения войны. П. Гатрелл полагает, что роль российского правительства в этих позитивных сдвигах была не слишком значительной. Гораздо активнее в поддержке технологических и организационных новшеств были военные и технические специалисты; Гатрелл особо подчёркивает заслуги «полуофициальной организации» С.Н. Ванкова (уполномоченного Главного артиллерийского управления по изготовлению снарядов нового образца, привлекшего в короткие сроки к реализации этой задачи 442 казённых и частных завода – *Прим.реф*.). Впрочем, в некоторых случаях власти реагировали на вызовы времени, например, признав (хотя и с большим опозданием) ключевую роль станкостроения и приравняв его по значимости к производству вооружений. Были и примеры эффективного государственного регулирования: по словам Гатрелла, «инструменты планирования, впервые применённые комитетами по распределению чёрных и цветных металлов, впоследствии были взяты на вооружение большевистским режимом» (с. 126). Однако правительство не смогло справиться с «узкими местами» в нескольких ключевых секторах, вызванными снижением импорта, нехваткой топлива, достигшей критического уровня зимой 1916 г., и другими проблемами.

Что касается привилегированного социального слоя – землевладельцев, то для них, по словам П. Гатрелла, война стала временем тяжёлых испытаний. Кризис крупного землевладения в России начался задолго до войны, которая ещё более обострила проблемы помещиков, связанные прежде всего с нехваткой рабочей силы. Даже победа едва ли обеспечила бы возрождение их благосостояния и – тем более – политического влияния, которое неуклонно сокращалось и до, и после 1914 г. Не могли дворяне-землевладельцы и противостоять антиправительственной и антипомещичьей пропаганде, активизировавшейся в деревне в годы войны.

Гатрелл акцентирует внимание на колоссальных социальных последствиях масштабного перемещения населения в годы войны. Огромное число людей, подвергшихся мобилизации, были вырваны из привычного контекста (регионального, профессионального и т.д.) и оказались в царской армии, где подвергались каждодневному риску. Промышленники вынуждены были принимать на свои предприятия рабочих из числа вынужденных мигрантов и обеспечивать их включение в производственный процесс в условиях, когда даже временная остановка предприятий (прежде всего оборонных) была по понятным причинам невозможна. Военные поражения 1914–1915 гг. породили многомиллионную волну вынужденных переселенцев из западных регионов империи преимущественно в Центрально-Европейскую Россию, что вынуждало власти обеспечивать их размещение, лечение, питание и т.д. Автор монографии подчёркивает усилившееся в годы войны взаимное влияние различных социальных групп: «некоторые из фабричных рабочих, призванных в действующую армию в 1914 г., в 1915–1916 гг. возвращались в свои цеха (притом с новым жизненным опытом). Недостаток промышленных рабочих пополнялся за счёт вчерашних крестьян, массово вливавшихся в индустриальную среду… Солдаты из расквартированных в Петрограде и других городах гарнизонов активно контактировали с местными рабочими. Крестьяне вынуждены были взаимодействовать с размещёнными в сельской местной беженцами, часть которых не говорила по-русски и являлась носителем

совершенно незнакомой культуры. Эти взаимодействия далеко не всегда были вполне мирными. Так, гнев городской бедноты прорывался наружу в условиях нехватки продовольствия, ответственность за которую возлагалась на крестьян; поводом для возмущения нередко становились ситуации, когда беженцы, как казалось местному населению, оказывались в более благоприятных условиях» благодаря поддержке правительственных структур и местного самоуправления (с. 79).

Война активизировала коммуникации представителей различных социальных и профессиональных групп, которые в прежние времена были достаточно редкими. Гатрелл обращает внимание и на то, что хотя «гендерная иерархия не была ниспровергнута», многим женщинам именно война предоставила новые возможности для самореализации; в частности, они стали гораздо чаще контактировать с представителями бюрократии, причём «в такой манере, которая едва ли была возможна до войны». Тысячи женщин становились медсёстрами. Существенные изменения происходили и внутри крестьянской и городской семьи, поскольку женщинам часто приходилось принимать на себя функции главы домохозяйства.

П. Гатрелл отмечает, что война повлияла на политическую жизнь страны во многих отношениях. Помимо того, что условия войны задавали новую повестку дня, поражения царской армии и оккупация противником российских территорий, так же как и огромное количество оказавшихся в плену российских солдат, давали оппонентам старого режима массу дополнительных поводов для критики властей. Однако, по мнению автора, не менее важно было то, что беженцы с оккупированных западных территорий «вместе с собой приносили войну в повседневную жизнь российской провинции. Такими разными способами война изменила контуры и характер российской политики» (с. 103).

По мнению П. Гатрелла, простого ответа на один из ключевых вопросов – насколько существенным фактором краха царизма явилась продовольственная проблема – не существует. «Даже на памяти живших тогда людей были гораздо более острые кризисы – в 1891 и 1902 годах, однако в этих случаях режим сумел выжить». Важным

обстоятельством Гатрелл считает то, что ранее в ситуациях нехватки продовольствия власть вместе с церковью были способны убедить значительную часть населения в том, «что проблемы были даны Богом, а не искусственны. Однако ответственность за нехватку продовольствия зимой 1916–1917 гг. невозможно было возложить на неурожай» (с. 169–170). В этой ситуации общество начало искать виновных, которыми оказывались то посредники, то оптовики, то мелкие торговцы. Немалая доля ответственности возлагалась на государственный аппарат. «Губернаторы были не в состоянии кормить гражданское население, бюрократы были не в состоянии сформулировать какую-либо последовательную стратегию и в результате придумали бесполезную норму о реквизиции зерна; наконец, ответственные за транспорт были не в состоянии организовать доставку продовольствия… Политика царизма в области продовольственного обеспечения была неадекватной сложившейся ситуации и внесла свой вклад в нарастание в обществе убеждённости в некомпетентности властей». Эта неудачная политика, по мнению Гатрелла, стала результатом конкуренции различных подходов, предлагавшихся разными ведомствами. Военное министерство и Министерство сельского хозяйства исходили из того, что государство должно сосредоточиться на снабжении вооружённых сил. «МВД развивало более циничную “программу”, которая поощряла городских потребителей возлагать ответственность за перебои с продовольствием на посредников и владельцев магазинов». Тем временем новое поколение специалистов и представители общественных организаций требовали как расширения административного регулирования, так и общественного участия в деле продовольственного снабжения (с. 170). А между тем к декабрю 1916 г. государственные запасы зерна составляли лишь одну пятую от их объёмов годом ранее.

Это положение отчасти стало результатом того, что железные дороги к концу 1916 г. оказались под «невыносимым давлением» мобилизации и перемещения вооружений, будучи не в состоянии своевременно обеспечивать доставку иных грузов. Кроме того, государственным структурам, «ответственным за поставку продовольствия, противостояла плотная сеть автономных

крестьянских домашних хозяйств, роль которых на продовольственном рынке возросла» во время войны из-за тех трудностей, которые испытывали крупные землевладельцы. В этой ситуации крестьяне уклонялись от зернового налога, надеясь выгодно продать свои запасы на открытом рынке, дождавшись ещё большего повышения цен. В любом случае у крестьян не было экономических стимулов ни для увеличения объёмов производства, ни для наращивания его поставок.

Тем временем горожане надеялись, что правительство сумеет создать механизм обеспечения их продовольствием. Но этим ожиданиям не суждено было сбыться. Долгое время правительство вообще игнорировало гражданских потребителей продовольствия, стремясь обеспечить армию любой ценой. В последние месяцы существования царского режима предпринимались попытки изменить ситуацию, но они оказались бесплодными. «Ни царское, ни Временное правительство так и не “изобрели” продовольственную политику, которая могла удовлетворить пожелания производителей и нужды потребителей. Российские потребители не голодали, но их доступ к продовольствию зависел все более и более от их собственных усилий получить пищу любыми средствами, включая полуюридические инициативы и прямую конфискацию и перераспределение акций в ходе продовольственных бунтов. Они не могли рассчитать на гарантированные государством поставки» (с. 171–172).

В феврале 1917 г. 300-летний «старый режим» рухнул. Однако пришедшее ему на смену Временное правительство допустило роковую ошибку, продолжив участие России в войне. Результатом стал приход к власти в октябре 1917 г. большевиков, которые в соответствии с запросами общества провозгласили «мир, хлеб и землю» ключевыми проблемами, требующими немедленного решения.

Таким образом, резюмирует Гатрелл, «различными средствами война обостряла существующие антагонизмы и взращивала новые области социального конфликта. Осенью 1917 г. социальные низы – элементы, которые Н.А. Маклаков в феврале назвал “внутренним врагом” – объявили открытую войну имущей элите и государству» (с. 213).

Участие России в войне стало важнейшей причиной краха старого имперского государства в феврале 1917 г., говорится в Заключении. Временное правительство, пытавшееся справиться с глубочайшими проблемами, порождёнными затянувшейся войной и в то же время обеспечить выполнение Россией её союзнических обязательств, продержалось недолго. Захват власти большевиками привёл к выходу России из войны; кем-то это воспринималось как национальная катастрофа, другими – как подлинно освободительная революция и как пример, которому должны были последовать другие воюющие державы.

Насколько события в России в период Первой мировой войны были уникальными? Над этой проблемой П.Гатрелл размышляет в завершающей части своей монографии. По его словам, именно уникальность российского исторического опыта обычно подчёркивалась историками, и связано это было главным образом с тем, что события Первой мировой войны рассматривались обычно как часть её национальной истории; при этом схожие процессы в других воюющих странах, не приведшие к столь драматичным результатам, обычно не принимались во внимание.

«В начальный период войны для европейского общества было характерно скорее фаталистическое настроение, чем массовый энтузиазм, хотя это и маскировалось потоком официальной пропаганды. Историки, изучавшие общественные настроения, отмечают покорность людей неотвратимой обязанности участвовать в войне, в равной степени характерной для Берлина и Бирмингема, Парижа и Петрограда. Итальянские крестьяне, например, расценивали это как несчастье, над которым, как над засухой или голодом, они были не властны. По крайней мере в начальный период войны европейские рабочие прекратили использовать такой инструмент защиты своих интересов, как забастовка, отчасти под влиянием патриотических настроений, отчасти потому, что призыв значительной их части на военную службу разрушил сложившиеся отношения внутри трудовых коллективов. Всё это было характерно и для царской России» (с. 225).

Так же, как российская армия, все армии на Западном фронте начали испытывать проблемы с боеприпасами примерно к середине

ноября 1914 г. Промышленность Германии, Франции и Италии испытывала не меньшие трудности, чем российская индустрия, вследствие потери значительной части квалифицированных работников. Внутриполитические последствия проблем, порождённых войной, везде были крайне серьёзными: ключевые члены правительств воюющих стран вынуждены были уходить в отставку, многие ведомства подвергались реорганизации, а парламентская борьба на некоторое время утратила свою значимость. В большей или меньшей степени события в России в начальный период войны укладывались, таким образом, в рамки общеевропейских тенденций.

Потребности военного времени предопределили повсеместное усиление влияния военного руководства на политическую и общественную жизнь. В воюющих странах армейские и связанные с ними структуры существенно расширили административный контроль над всеми сферами общественной жизни, включая высшую бюрократию, владельцев частных предприятий и т.д. Ради наращивания производства вооружений и мобилизации ресурсов в Германии, Великобритании и Франции, так же как и в России, создавались разного рода полугосударственные – полуобщественные агентства; частные предприятия, в том числе средние и мелкие, оказывались под их контролем и были вынуждены перестраивать производство с учётом потребностей войны.

В то же время П.Гатрелл обращает внимание на то, что указанные процессы в России имели и свою специфику. «В Великобритании Конгресс профсоюзов был непосредственно вовлечён в управление военной экономикой, и в качестве ответной меры профсоюзные лидеры поддержали некоторые ограничения прав трудящихся, в том числе трудовой мобильности. В Германии организации рабочих тоже участвовали в переводе экономики на военные рельсы; в то же время они имели возможность в некоторых случаях содействовать освобождению рабочих от воинской повинности; в декабре 1916 г. был принят закон, в соответствии с которым вводились институты арбитража между предпринимателями и работниками; организациям рабочих были предоставлены особые полномочия, ставшие своего рода компенсацией за воинскую

повинность и ограничение свободы передвижения» (с. 266). Во Франции в январе 1917 г. также был создан институт арбитража для урегулирования отношений труда и капитала, решения которого имели обязательную силу; вскоре был введен минимальный размер заработной платы. В этом же духе действовало итальянское правительство.

Однако в России ничего подобного не происходило. Несмотря на призывы общественных организаций к правительству признать роль рабочих организаций и попытаться привлечь их к общему делу, отношение правительства к профсоюзам не изменилось. Пришедшее к власти после Февральской революции новое поколение политиков попыталось наладить сотрудничество с «организованным трудом», но было уже слишком поздно. В то время как Германия достигла компромисса между трудом и капиталом, в России всё закончилось установлением контроля над предприятиями со стороны фабричных комитетов.

Проблема обеспечения населения продовольствием встала практически перед всеми воюющими странами. Великобритания и Франция сумели предотвратить потенциальный продовольственный кризис отчасти благодаря наращиванию поставок из США, отчасти – благодаря тому, что были созданы стимулы для собственных сельхозпроизводителей, побудившие их расширить посевные площади и, соответственно, увеличить поставки продуктов. Германия и Россия не могли предотвратить продовольственный кризис; однако, столкнувшись с ним, немецкое правительство ввело нормирование продовольственного обеспечения. Это вызвало серьёзное недовольство населения и, безусловно, привело к обострению социальной напряжённости; однако для властей Российской империи отказ от такой политики обернулся катастрофой.

Россия выделялась среди воюющих стран и масштабами вынужденных перемещений населения. Конечно, подобная проблема вставала и перед другими странами, часть территории которых была оккупирована вражескими войсками; но нигде проблема беженцев не превратилась в такой грозный вызов для центральной и местной администрации, а также общественных организаций, как в России, где

необходимость поддержки вынужденных переселенцев ложилась тяжким бременем на провинциальное общество, подрывая и без того работавшие на пределе системы здравоохранения и социального обеспечения.

Итак, тяготы войны испытывали практически все европейские страны. Но в большинстве воюющих государств проявления социального недовольства были направлены, как правило, против отдельных, наиболее болезненных последствий войны; лишь изредка люди выступали против социально-политического строя как такового; но, если такие настроения и проявлялись, они либо оперативно подавлялись государственной властью, либо нейтрализовывались разнообразными реформами. В сознании же российских рабочих и крестьян к 1917 году желание покончить с войной соединилось со стремлением сокрушить государственную машину и уничтожить систему частнособственнических отношений. Поэтому, в то время как практически повсеместно в Европе завершение войны открывало эру реформ, перед Россией открывалась совершенно иная перспектива.

С.В.Беспалов

ХОЛКВИСТ П.

РЕВОЛЮЦИЯ КОВАЛАСЬ В ВОЙНЕ: НЕПРЕРЫВНЫЙ КРИЗИСВ РОССИИ 1914-1921 гг.

HOLQUIST P.

MAKING WAR, FORGING REVOLUTION: RUSSIA'S CONTINUUM OF CRISIS, 1914-1921.
– Cambridge (Mass.), 2002. – IX, 359 p.
(Реферат)

Примером новой тенденции в изучении Первой мировой войны является книга Питера Холквиста (университет Пенсильвании), посвященная событиям на Дону в 1914-х – 1920-х годах. Отправной точкой исследования послужил тезис о том, что русскую революцию следует рассматривать в контексте общеевропейского кризиса 1914–1921 гг., при этом рассматривать как длительный процесс, а не отдельное событие, и учитывать те серьезные институциональные, политические и идеологические изменения, которые произошли в стране в эпоху всеобщей мобилизации военного времени. Таким образом, поворотным пунктом в истории России П. Холквист считает 1914, а не 1917 год. Гражданская война (а на самом деле, по мнению автора, множество мелких взаимопересекающихся и накладывающихся друг на друга гражданских войн и национальных конфликтов, которые служили средствами реализации того или иного

политического проекта) трактуется им как необходимая и неизбежная составная часть революционного процесса (с. 1–3, 6).

Особое внимание уделяется в книге институтам и политическим практикам эпохи военного кризиса, которые рассматриваются в общеевропейском контексте. Автор отмечает, что все воюющие державы применяли сходные меры для мобилизации населения в эпоху тотальной войны и выявляет российские особенности, обусловленные местной спецификой. Он указывает, что мобилизация военного времени привела к возникновению в России так называемых «парагосударственных структур» – полуобщественных, полугосударственных институтов, в которых и государство, и общество были тесно переплетены между собой и где общество наконец-то смогло играть политическую роль, доселе ему недоступную. Однако создавались эти организации в ускоренном порядке, в отличие от Европы, где они формировались на протяжении столетий и были лишь реорганизованы таким образом, чтобы отвечать нуждам военной мобилизации (с. 4). В результате Февральской революции к власти пришли люди, которые активно сотрудничали в данных организациях, стремясь реализовать с их помощью свои давние мечты по преобразованию общества, пишет автор. Именно эти институты и выработанные в годы войны политические практики государственного насилия (карательные отряды, оккупационные режимы, концентрационные лагеря), применявшиеся против внешних врагов, были перенесены внутрь страны и явились для политических элит России тем инструментом, при помощи которого они реализовали свои программы. Применение политики военного времени к революционному преобразованию общества, в результате чего насилие привносилось в самое основание политического строя – черта, отличавшая Россию от других воюющих держав, где после войны удалось в общем и целом отказаться от государственного насилия и вернуться к практике управления, свойственной мирному времени (с. 5).

Для исследования «непрерывного кризиса» 1914–1921 гг. П. Холквист подробно описывает события, происходившие в это время на Дону, прослеживая взаимодействие государственной политики и ее

реализации на местах, а также ее трансформацию под влиянием местных условий. Он учитывает особенности Области Войска Донского как одной из главных «житниц» страны, а также разнообразие национального и социального состава населения, в первую очередь наличие казачества, на которое делали ставку многие политические силы. Регион подолгу находился под контролем и красных, и белых, и в результате сложилась достаточная для проведения сравнительного анализа источниковая база.

Основной акцент в исследовании сделан на изучении политических практик как инструментов реализации тех или иных идеологических проектов. П. Холквист на материале Области Войска Донского анализирует возникновение и трансформацию трех «векторов деятельности государства», которые в наибольшей степени обеспечивали контакты между населением и государством, в данном случае с «разными претендентами на политическую власть» - царским правительством, Временным правительством, белыми, большевиками, казацкой старшиной (с. 6). Три вектора - это государственная практика обеспечения продовольствием, использование государственного насилия для достижения политических целей и политический надзор за населением. Причем одни и те же политические практики, отмечает автор, могли служить достижению самых разных идеологических целей, так как обнаруживаются параллели и сходные черты в практиках всех перечисленных выше правительств на Дону. А поскольку аналогичные меры применялись в тот период и другими европейскими державами, автор объясняет их необходимостью всеобщей мобилизации, а кроме того, «новыми требованиями государства по отношению к населению», возникшими в эпоху «тотальной войны».

В книге не только скрупулезно фиксируется событийная сторона, но также прослеживается формирование политического дискурса, который оказал решающее влияние на ход событий в крае. П. Холквист указывает на возникновение двух конкурирующих между собой, но в чем-то и перекрывающихся политических нарративов о казачестве – «сословного традиционалистского» и «республиканского». Как отмечается в книге, идентичность казачества претерпевала серьезные

изменения в 1880–1910-е годы. Решающими факторами автор считает кампанию против введения земства в Области Войска Донского, которая резко отделила казаков от не казаков, а также споры по земельному вопросу в 1905 г., когда разделение населения на казаков и крестьян приобрело политическое измерение. Кроме того, в период революции 1905 г. в среде казачества оформилось представление о том, что существует разделение на простых (настоящих) казаков и казацкую верхушку. «Традиционалистский» нарратив создавался именно казацкой верхушкой, которая настаивала на сословных привилегиях казачества – «вольностях», заслуженных кровью и верной службой царю и отечеству. Эта концепция, пишет П. Холквист, возникла в среде местных чиновников и интеллигентов, проживавших главным образом в Новочеркасске, многие из которых принадлежали к партии кадетов, некоторые были депутатами Государственной думы. Многие из них уже давно не бывали на Дону, что не мешало им активно пропагандировать идеальные представления о казачестве как опоре российской государственности, самых верных сынах России, что получило серьезное подкрепление в пропагандистских кампаниях в годы Первой мировой войны. Февральская революция вернула казакам их исконные «вольности», отнятые Петром I, что всячески приветствовалось казацкой верхушкой, настаивавшей на административном отделении.

Этому «корпоративному» образу противостоял, в изображении автора, республиканский нарратив, более эгалитарный по своему характеру, представлявший казаков «свободными» людьми, самыми первыми в истории России ее гражданами. Сторонники этой концепции происходили из казачьих общин северной части Области Войска Донского, почти все были фронтовиками, орденоносцами. Политическое оформление республиканский образ казачества приобрел сначала в казачьих исполнительных и полковых комитетах на фронте, а затем в местных советах и военно-революционных комитетах. Сохраняя сильное чувство собственной идентичности, казаки-республиканцы настаивали на включении казаков в общий универсалистский гражданский строй при сохранении их самобытности (с. 63–64).

Поскольку Временное правительство положило конец сословной структуре Российской империи, традиционалисты должны были найти новые основания для определения казачества и легитимации его особого, отдельного от остального населения положения, пишет П. Холквист. Для этого новые властные институты казачества стали выступать не как сословные органы, а как выражение политической воли народа. Как отмечает автор, казацкие органы власти именно формировали, а не отражали чувства принадлежности к единому политическому коллективу. Таким образом, П. Холквист фиксирует постепенное превращение в течение 1917 г. сословной идентичности казачества в социальное движение современного типа. Он показывает, как стремление казаков к партикуляризму получило неожиданную поддержку извне, и все благодаря мифическому образу казачества как опоры русской государственности. Приписываемый донским казакам идеальный, органический этатизм нашел своих поклонников в среде многих, разочаровавшихся в революции и недовольных нарастающей анархией, в том числе и в самом Временном правительстве. Несмотря на многочисленные жалобы населения Области Войска Донского, оскорбленного ущемлением своих прав казаками, Временное правительство приветствовало казацкую администрацию и не усматривало в ней ни «национализма», ни «сепаратизма». Помимо идеологических причин, важным фактором было и наличие воинских подразделений, на которые правительство, постепенно оказывавшееся в изоляции, могло с уверенностью положиться (с. 65–66).

С февраля 1917 г. напряженность в отношениях казаков с остальным населением Дона – крестьянством, иногородними, рабочими – все возрастала, поскольку оно было исключено из участия в выборах и работе новых органов казацкой администрации. Способствовало нарастанию противостояния и решение Первого войскового круга отозвать казаков из Донского исполнительного комитета и других не казацких органов власти (с. 73–74).

Земельный вопрос также углубил пропасть между казаками и крестьянами. Как указывает автор, земельные захваты в 1917 г. касались в основном не общинных казачьих земель, а частного землевладения, львиная доля которого приходилась на крестьянство.

Причем испытывавшая земельный голод крестьянская беднота претендовала не на общинную землю станиц, а на резервные земли, находившиеся во владении администрации, которые, как правило, сдавались в аренду тем же крестьянам. Однако крестьянские требования урезать богатеев были представлены как борьба между казаками и крестьянством. Это представление стало составной частью того политического дискурса, который представлял крестьян и казаков главными действующими лицами революционной драмы, способствуя таким образом структуризации множества мелких конфликтов и превращая их в целенаправленную борьбу (с. 75–77).

Летом 1917 г. по решению Первого донского круга прошли массовые отставки казаков в общегражданских политических структурах и переход их в казачьи органы власти. Автор отмечает ответную реакцию на консолидацию казаков, которая выразилась в изменении социального состава советов (с преобладанием крестьянства) и усилении их антиказачьей направленности. Разъединение населения Дона, пишет он, шло сверху вниз, от Донского исполнительного комитета и Донского войскового правительства к местным политическим структурам на уровне отдельных станиц и деревень. При этом борьба советов за власть на Дону осенью 1917 г. была направлена не против «буржуазных» институтов (земства, думы), а против казачьих органов власти (с. 78–84).

Когда после получения телеграфных сообщений о захвате большевиками власти Донское войсковое правительство при поддержке Новочеркасской городской думы и городского совета объявило себя верховной властью в регионе и ввело военное положение в западных угледобывающих районах, оно рассматривало себя как опору национальной государственности, пишет автор. Именно поэтому оно предложило Временному правительству перебазироваться на Дон и там организовать борьбу против большевиков. И хотя рядовые казаки не разделяли энтузиазма своих лидеров и не были готовы вести борьбу за пределами региона, а общегражданские политические структуры (крестьянские съезды, съезды советов и исполкомы) подвергли суровой критике действия как большевиков, так

и Донского правительства, это не помешало возглавлявшему казацкое правительство генералу А.М. Каледину начать активные действия против «большевизма» (с. 114–116).

Подробно описывая ход событий на Дону в ноябре-декабре 1917 г., автор указывает, что главной военной силой в борьбе за власть в регионе в тот момент являлись прибывшие туда из центра студенты, юнкера и добровольцы, которых привлекал образ Дона как «русской Вандеи». Именно собравшиеся на Дону противники большевиков сделали этот образ реальностью, в то время как многие казаки высказывали опасения, что столь активная антибольшевистская деятельность А.М. Каледина втянет Дон в войну со всей Россией, пишет П. Холквист. Таким образом, «та преувеличенная роль, которую Область Войска Донского стала играть в гражданских войнах, была вызвана скорее давними стереотипами, чем реальным поведением казаков» (с. 120).

Характерной чертой 1917 г., по мнению автора, была повсеместно распространенная вера в то, что только партии являются легитимной формой политического представительства. Отсюда – стремление превратить политическую жизнь России в партийную борьбу. Одной из определяющих черт политики 1917 г., пишет автор, была социальная теория представительства, т.е. каждая партия искала и создавала себе поддержку в лице определенных социальных групп, поскольку в то время политика понималась как игра «социальных акторов». Как указывает П. Холквист, политические движения всех мастей, от большевиков до офицеров-монархистов, выставляли себя выразителями интересов отдельных социальных групп и с помощью целого ряда механизмов навязывали свои собственные программы политическому поведению масс, зачастую весьма беспорядочному. При этом «политическое» содержание определяло «социальные» требования (с. 143–144).

В книге показано, как разрозненные конфликты весны 1918 г. постепенно превратились в войну между казаками и большевиками. При этом и простые казаки, и крестьяне часто пытались уклоняться от мобилизации их соответствующими воюющими сторонами. Автор анализирует процесс «приписывания» сословного статуса казаков всем

участникам движения, в основе которого лежало мифологическое представление о характере восстания, всячески культивировавшееся руководством в Новочеркасске. Круг спасения Дона принял закон, даровавший статус казаков всем, кто сражался против большевиков, и исключавший из казачьего сословия тех, кто участвовал «в советском движении и большевистских организациях».

Руководители, поднявшие восстание от имени всего казачьего сословия, были, по словам автора, полны решимости принудить казаков к участию в их собственном освобождении. Начались массовые мобилизации, высылались карательные отряды, которые силой заставляли упорствующие в своем нейтралитете станицы присоединяться к движению. За время атаманства Краснова с мая 1918 г. по февраль 1919 г. военные суды вынесли примерно 25 тыс. смертных приговоров. И хотя реальное количество казней было гораздо меньше, эта цифра, по словам П. Холквиста, «отражает степень официального насилия». Как указывает автор, карательные отряды и военно-полевые суды являлись наиболее грубым инструментом формирования публичного дискурса и организации социальной жизни. Используя насилие как политическую технологию, руководство Всевеликого Войска Донского пыталось заставить казаков действовать в соответствии с его собственными представлениями о казачестве. Восстание 1918 г., таким образом, было «казачьим» не столько по причине того, что его подняли казаки, сколько потому, что они были выбраны в качестве социальной группы, предназначенной для его реализации.

Именно политическая погоня за идеализированным, воображаемым казачеством превратила восстание в «казачье движение», полагает автор (с.165). С другой стороны, то обстоятельство, что восставшие ставили знак равенства между поддержкой советов и «большевизмом», невольно содействовало попыткам большевиков притязать на роль единственной партии советского государства.

Последствиями такого положения дел стал ответный шаг Советской власти, которая в 1919 г. взяла курс на «расказачивание», означавший не просто отмену сословного статуса казаков, но также и в

соответствии с резолюцией Оргбюро ВКП (б) «тотальное уничтожение» всей «казацкой верхушки» путем «массового террора» (с.180).

Изучение практики снабжения продовольствием позволяет П. Холквисту более точно определить роль идеологии в формировании конкретных политических практик и формулировании их целей. В контексте «мобилизации» и «организации» своих обществ в ходе тотальной войны, пишет он, все воюющие державы сосредоточили снабжение и распределение продовольствия в руках правительственных организаций. Государственная монополия на торговлю зерном была установлена Временным правительством, которое в данном случае лишь реализовало намеченную еще до революции программу. Таким образом, введение контроля над экономикой в СССР являлось не только воплощением большевистской идеологии, но также расширением и продолжением той практики, которая получила распространение во всей Европе в годы войны. Свою общность в этом отношении с Европой прекрасно осознавали как дореволюционные чиновники, так и ведущие советские экономисты, занимавшиеся разработкой планового хозяйства. Фиксируя наличие серьезной традиции «научного и рационального» планирования в среде специалистов – бывших сотрудников Министерства земледелия, автор описывает их противостояние реформе атамана Краснова, который ввел в мае 1918 г. на Дону свободную торговлю зерном.

«Этос планирования», пишет он, в годы Гражданской войны получил широкое распространение среди всех ее участников. Все они осуждали спекуляцию и рыночную анархию, принимали меры для борьбы с инфляцией. Тем не менее, прослеживая глубокую общность между царским режимом, Временным правительством и правительствами белых на Дону, П. Холквист выявляет те отличия в целях и форме политической практики снабжения продовольствием, которые присутствовали у большевиков. С присущим ему обостренным вниманием к значению слов и понятий, он отмечает, что термины «запасы» и «излишки» из области экономики перешли в плоскость морально-политическую, поскольку в процесс принятия

решения о заготовках включался вопрос о силе и степени сопротивления тех, у кого зерно будет изыматься.

Учитывая, что белые и красные действовали в интересах разных групп населения, они выработали поразительно разную практику обеспечения продовольствием. И те, и другие прибегали к насилию, однако задачи изъятия зерна они понимали по-разному. Если целью белых являлась всего лишь заготовка сданных гражданами «запасов» зерна и более правильное его распределение (как это и происходило в годы войны), то задачи советской власти выглядели совершенно иначе. С точки зрения автора, политика большевиков по обеспечению продовольствием была нацелена на трансформацию индивида, который должен был усвоить новый смысл своих обязательств перед государством. Именно этим П. Холквист объясняет применение жестоких карательных мер против тех, кто «утаивает излишки» от голодающего народа Республики Советов. Те, кто «уклонялся» от выдачи зерна, объявлялись «врагами народа» их судил военный трибунал. Выездные сессии революционных трибуналов носили характер показательный и воспитательный, широко освещались в местной прессе, приговоры судов распространялись в виде листовок среди населения. Таким образом, вопрос о хлебозаготовках переходил из объективной в субъективную сферу.

Исследуя практику политического надзора, П. Холквист показывает, что контроль за настроениями населения, стремление конструктивно воздействовать на эти настроения носили в XX в. широкий, общеевропейский и даже всемирный характер. В межвоенный период тоталитарные по своей сути мероприятия проводили и нацистская Германия и цитадель либерализма – Англия.

По мнению автора, надзор за настроениями населения следует понимать как вспомогательную функцию политики современной эпохи (одним из вариантов которой является тоталитаризм) и как составную часть глубокого процесса изменения целей управления: процесса перехода от «территориального» государства к «правительственному». В России резкий переход от административного, территориального государства, в котором самодержец управлял территориями, к государству, основанному на правительственном принципе и

управляющему населением, произошел в 1917 г., пишет П. Холквист. Политический надзор в этом контексте и представляет собой один из инструментов эффективного управления населением.

Методика политического надзора, приходит к выводу П. Холквист, была разработана еще в царской России, в ходе Первой мировой войны получила широкое распространение и была институционализирована в рамках государственных структур, а в годы гражданской войны ее активно применяли и красные, и белые. Однако, несмотря на то, что методика надзора и осведомления у белых и красных была схожей, специфика большевизма проявилась в формулировке тех целей, ради достижения которых следовало практиковать надзор и содержать осведомителей, пишет автор. Отличительной особенностью советского эксперимента являлось использование общеевропейского набора практических мероприятий политического контроля с целью создания «нового человека» и построения социализма, причем в течение определенного временного периода. Отвергая попытки трактовать приведенные в исследовании факты как доводы в пользу «особости» России, автор указывает, что «задача исследователя должна состоять не в поиске причин, по которым Россию можно было бы считать аномалией, а в определении специфики российского воплощения общеевропейской практики» (с. 222).

Большевистская идеология («склонность привязывать все к социально-экономическим условиям») не объясняет полностью политику советского государства по отношению к населению. Идеология действовала в условиях «революционной политической экосистемы» - термин, заимствованный у Катерины Кларк для описания новых понятийных категорий у всех претендентов на политическую власть в России (с. 144). П. Холквист считает, что большевиков отличала «та степень, с которой они использовали и трансформировали инструменты, предназначавшиеся для тотальной войны, приспосабливая их к новым целям революционной политики, как во время гражданских войн, так и, в особенности, после их окончания» (с. 287). Однако сохранение военного государства в мирное время нельзя приписать только идеологии. Из-за слабого

развития гражданской сферы в довоенной России, институты и практики тотальной мобилизации «стали «кирпичиками» для построения как нового государства, так и нового социально-экономического строя» (с. 286). Что делало ситуацию в России исключительной, так это тот факт, что в то время как после окончания войны другие страны более или менее успешно вернулись к несколько модифицированной форме старого строя, большевики не отказались от революционной массовой мобилизации. Они хотели переформировать общество, и для достижения этой цели продолжали применять военные методы. Советская система, в понимании П. Холквиста, была перманентной революцией. Эту систему, заключает автор, создали не только идеология большевиков и вековое наследие самодержавия, но также война и революция.

О.В.Большакова

М.М.МИНЦ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: СТОЛКНОВЕНИЕ И РАСПАД ТРЁХ ИМПЕРИЙ (Обзор)

Особое место в истории Первой мировой войны занимают страны Восточной Европы – территории современных Польши, Белоруссии, Украины, прибалтийских республик. К началу XX в. эти земли были разделены между Россией, Германией и Австро-Венгрией, а в 1914 г. стали одним из театров военных действий, которые отнюдь закончились в 1918 г. после капитуляции стран Четверного союза и продолжались вплоть до начала 1920-х годов. В географическом отношении всё это огромное пространство может рассматриваться как один большой приграничный регион, включающий в себя национальные окраины трёх империй. Как и любая другая приграничная территория, Восточная Европа отличалась известным этническим и религиозным многообразием, что делало пересекавшие её государственные границы в значительной степени искусственными. Здесь уже начали формироваться местные национальные движения, что соответствовало общей для Нового времени тенденции к преобладанию национальных государств над другими формами политического устройства. Австрийское, германское и российское правительства в этих условиях вынуждены были прилагать

специальные усилия для консолидации своих империй[8]. Более того, они и сами вводили в свои системы государственного управления элементы национального государства, так что основной опорой правящих режимов постепенно становились «титульные» нации этих стран (немцы, австрийцы, русские). Такая политика ставила остальную часть населения в положение граждан второго сорта и тем самым закладывала основу для новых конфликтов.

Перечисленные факторы оказали самое непосредственное влияние на процессы в восточноевропейском регионе в начале XX в. Борьба между Петербургом, Берлином и Веной за контроль над этой территорией стала одним из катализаторов международной напряжённости, в конечном счёте – одной из причин Первой мировой войны, в результате которой все три империи прекратили своё существование, а боевые действия между возникшими на их обломках государственными и полугосударственными образованиями продолжались ещё около двух лет.

Наиболее драматичные события происходили в Восточной Галиции, которая к 1914 г. являлась окраиной Австро-Венгрии и была населена украинцами, поляками и евреями (термином «Западная Галиция» в то время обозначалась Краковская область). Этот регион был объектом соперничества не только между Австрией и Россией, но и между украинскими и польскими националистами, считавшими его частью исторической Украины и Польши соответственно (российское правительство в свою очередь исходило из весьма далёкой от действительности теории о том, что жители Галиции являются русскими, чем и объясняются предпринимавшиеся российскими оккупационными властями попытки её принудительной русификации). В 1914 г. Восточная Галиция была захвачена Россией, в 1915 г. отвоёвана австрийцами и немцами, в 1916 г. часть её территории снова на некоторое время заняли русские войска, а в результате боевых действий в 1918–1920 гг. Восточная Галиция стала частью Польши. Бесконечные войны привели к разорению и без того довольно бедного

[8]Ср.: Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by O. Bartov and E.D. Weitz. – Bloomington: Indiana univ. press, 2013. – P. 2.

региона и сопровождались массовым насилием против мирного населения, особенно против евреев. В 1939 г. регион вошёл в состав Советского Союза, в 1941–1944 гг. пережил нацистскую оккупацию и, наконец, во второй половине минувшего столетия фактически утратил свой прежний облик приграничья, поскольку его польское население к тому времени было в основном выселено, а еврейское погибло в огне Холокоста[9].

В свете всего сказанного выше неудивительно, что история национальных окраин, приграничных регионов вообще и Восточной Европы в частности, их место и роль в истории Первой мировой войны и в судьбах империй вызывают среди исследователей особый интерес. Рассмотрим подробнее несколько наиболее значительных работ по этой тематике, увидевших свет в последние годы.

Особенности региона

Особенности Восточноевропейского, а также Балканского театров Первой мировой войны анализируются, в частности, в статье Денниса Шоуолтера (колледж Колорадо, Колорадо-Спрингс, США) «Война на Востоке и на Балканах, 1914–1918» (11). Автор отмечает их ключевое отличие от Западного фронта, состоявшее в том, что здесь боевые действия велись между государствами, отстающими в промышленном развитии, с нестабильной внутриполитической ситуацией. Из крупных индустриальных держав только Германия принимала активное участие в операциях на востоке Европы, причём в 1914 г. немцы, недооценив военный потенциал России, выставили против неё довольно немногочисленную группировку войск. На Салоникском фронте действовали английские, французские, русские и немецкие части, но главные силы противоборствующих сторон составляли сербские, позднее также греческие войска со стороны Антанты и болгарские – со стороны Четверного союза. Экономическая слабость воюющих стран привела к тому, что на Балканском театре относительно короткие периоды активных действий чередовались с

[9] Ср.: Ibid. – P. 8–9.

продолжительными периодами затишья; на русском фронте начиная с осени 1915 г., когда остановилось австро-германское наступление, периоды затишья тоже были длиннее, чем во Франции. Сказалась и политическая нестабильность в противоборствующих государствах: тяжёлая затяжная война привела к распаду Австро-Венгрии, волнениям в Болгарии и революции в России. Эти же факторы не позволили немцам в полной мере воспользоваться плодами Брестского мира в 1918 г. После выхода России из войны им удалось высвободить дополнительные силы для нового наступления на Западном фронте, но экономическая выгода от захвата Украины, Белоруссии и Прибалтики оказалась минимальной из-за разрухи и хаоса, царивших на этих территориях: «Между мартом и ноябрём 1918 г. Центральные державы получили болезненный урок в том, что касалось разницы между завоеванием, оккупацией и эксплуатацией» (11, с. 78).

Своеобразным «эхом» Первой мировой стали многочисленные региональные и локальные конфликты в 1919–1923 гг. на периферии западноевропейской ойкумены, которые рассматриваются в статье Питера Гатрелла (Манчестерский университет) «Война после войны» (4). К числу этих конфликтов относится и Гражданская война в России, а также столкновения в Финляндии и в Восточной Европе – на стыке прекративших своё существование Российской, Германской и Австро-Венгерской империй. Социальные конфликты переплелись с национальными, попытки большевиков удержать власть в России и «экспортировать» революцию за её пределы – с образованием новых национальных государств, территориальными спорами между ними, борьбой меньшинств за право на самоопределение и стремлением держав Антанты сохранить свои новые геополитические позиции, с таким трудом завоёванные в 1914–1918 гг.

Войны конца 1910-х – начала 1920-х годов характеризовались высоким уровнем взаимной ненависти между враждующими сторонами, разрухой и хаосом в тылу, широким использованием иррегулярных вооружённых формирований, поскольку новые регулярные армии ещё только создавались, и как следствие, перебоями в снабжении, многочисленными случаями мародёрства и грабежей и массовой гибелью мирного населения от рук бандитов или в

результате репрессий. Число жертв среди мирных жителей впервые превысило людские потери армий.

Новая политическая карта региона окончательно оформилась в начале 1920-х годов. В России, потерявшей часть своих прежних владений, утвердился большевистский режим. Финляндия, Эстония, Латвия и Литва стали самостоятельными демократическими государствами. На месте габсбургской империи возникли независимые Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. В состав Румынии были включены Трансильвания и Бессарабия, принадлежавшие прежде Австро-Венгрии и России соответственно. Независимости добилась и Польша; к ней отошли территории, ранее бывшие частью Германии, Австрии и России, включая Галицию, Западную Белоруссию, Виленскую область и др. Более или менее стабильно описываемый период пережили только Чехословакия и в меньшей степени Югославия. Некоторые конфликты так и остались неразрешёнными – например, пограничные споры между Польшей и Германией, Венгрией и Румынией, Италией и Югославией, Советским Союзом и Румынией. Напряжённой оставалась и внутриполитическая обстановка во многих странах региона.

История боевых действий

Боевым действиям на Восточном фронте в западной историографии посвящено не так много работ. Из современных учёных этой темой занимается, в частности, Грейдон Дж. Танстол (университет Южной Флориды); в его книге «Кровь на снегу» (12) описывается зимняя кампания 1915 г. в Карпатах. Исследование выполнено главным образом на базе австрийских и венгерских источников, включая документы военных архивов Вены и Будапешта, а также воспоминания и дневники участников событий, что позволило автору воссоздать весьма подробную картину катастрофического положения австро-венгерской армии в то время. В своих выводах он во многом расходится с официальной австрийской историографией, тем более что многие из использованных им источников остались вне поля зрения австрийских специалистов.

Августовское наступление русских войск в Галиции в 1914 г., отмечает Г.Дж. Танстол, оказалось неожиданностью для противника. В документах австрийского стратегического планирования регион характеризовался как непригодный для действий крупных войсковых соединений из-за сложной местности и слабо развитой дорожной сети. На пути русских не было ни серьёзных естественных преград, ни крепостей, за исключением Перемышля, укрепления которого к началу войны уже устарели. Сил, выделенных австрийским командованием для защиты Галиции, также было недостаточно для устойчивой обороны. В результате кровопролитных боёв в августе-декабре русские войска заняли всю Галицию, осадили Перемышль со 120-тысячным гарнизоном и закрепились в Карпатах, угрожая вторжением на территорию Венгрии.

Чтобы предотвратить это вторжение, а также деблокировать Перемышль, австрийцы с января по апрель 1915 г. предприняли в общей сложности три наступления против русских, несмотря на то что армия была значительно ослаблена огромными потерями в предыдущем году, обученных резервистов не хватало, войска не были подготовлены к действиям в условиях зимы, а снабжение по-прежнему осуществлялось с перебоями. С обеих сторон в зимних операциях участвовали по миллиону солдат и офицеров. Войскам приходилось действовать в тяжелейших условиях, а невозможность своевременно сменить части, долго находившиеся на передовой, свежими резервами доводила людей до крайней степени физического и морального истощения. Потери сторон в этом сражении сопоставимы с числом погибших на Сомме и под Верденом в 1916 г. Поскольку русские армии занимали выгодные оборонительные позиции в горах, а их личный состав был лучше подготовлен к зиме, все три австрийских наступления окончились провалом. 22 марта пал Перемышль.

Причиной этих неудач австрийцев, по мнению автора, во многом была самонадеянность командования, в т. ч. лично начальника Генерального штаба фельдмаршала Ф. Конрада фон Хётцендорфа, фактически игнорировавшего истинное состояние своих войск и их реальные боевые возможности в сложившейся обстановке. «Одна из наиболее непродуманных кампаний [Первой мировой] войны, –

заключает автор, – Зимняя война в Карпатах, даёт слишком много примеров того, как *не надо* воевать зимой в горах и к каким негативным последствиям приводит неадекватное руководство» (12, с. 212, выделено в тексте). Перелом в боевых действиях в пользу Центральных держав наступил лишь в мае, когда переброшенные в Галицию германские войска перешли в наступление в районе Горлице.

Эту операцию, а также последующее общее наступление австрийцев и немцев на Восточном фронте рассматривает в своей книге Ричард Л. ДиНардо (2). Свой интерес к названным сражениям он обосновывает тем, что Горлицкий прорыв стал первой успешной наступательной операцией в условиях позиционной войны, позволив немцам возобновить манёвренные действия против России, тогда как во Франции линия фронта почти не менялась ни в 1915, ни в 1916 г. Горлицкий прорыв интересен и с точки зрения истории военного искусства: это была первая совместная операция германских и австро-венгерских войск под единым командованием и первый для Германии опыт коалиционной войны со времён участия прусской армии в наполеоновских войнах, а для развития прорыва в глубину применялась главным образом не конница, а пехота. В книге описывается также место и роль в рассматриваемых событиях ряда высокопоставленных немецких офицеров и генералов, не принимавших участия в боях во Франции и потому неизвестных западному читателю. Речь идёт прежде всего о командующем 11-й германской армией генерал-полковнике (с 22 июня 1915 г. генерал-фельдмаршал) А. фон Макензене, осуществлявшем общее руководство наступлением в районе Горлице, и его начальнике штаба полковнике Х. фон Секте.

Результатом летних операций в Восточной Европе стал несомненный успех Центральных держав. Им не удалось вывести Россию из войны, но боевые возможности её армии были сильно подорваны на довольно длительный срок, угрозы для Австро-Венгрии она больше не представляла. Рискованное решение германского командования перебросить максимум сил с Западного фронта на Восточный оказалось вполне оправданным: все атаки англо-французских войск на протяжении 1915 г. были успешно отбиты.

Положения России не облегчило и вступление в войну Италии, поскольку австрийцам удалось довольно быстро стабилизировать фронт, не отвлекая для этого значительных сил своей армии. Плачевное состояние русских частей, напротив, позволило австрийскому командованию высвободить войска для нанесения решающего удара по Сербии. «Война, – заключает автор, – шла по германскому пути» (2, с. 143), т. е. в соответствии с замыслами немецкого руководства.

Благоприятные итоги наступления в Галиции были обусловлены прежде всего грамотными действиями германских генералов во главе с Макензеном и начальником Генерального штаба Э. фон Фалькенхайном. Особую роль сыграло исключительно чёткое взаимодействие между пехотой, артиллерией и авиацией на поле боя. Эффективная воздушная разведка позволила повысить точность огня тяжёлых орудий и нанести максимальный урон российским войскам даже в условиях дефицита снарядов, тогда как полевая артиллерия быстро перемещалась в глубь расположения противника вслед за наступающей пехотой, что давало возможность подавлять её огнём пулемётные гнёзда и другие опорные пункты русских. Важное значение имело и продуманное оперативное планирование: каждый прорыв готовился и осуществлялся с заранее определёнными дальнейшими задачами по захвату тех или иных пунктов или выходу на те или иные рубежи в глубине неприятельской территории. Автор отмечает, что такой уровень профессионального мастерства был по силам далеко не всем немецким полководцам Первой мировой войны. Э.Ф.В. Людендорф, к примеру, слишком часто действовал по принципу «Мы пробьём коридор в их позициях. Что делать дальше – увидим» (цит. по: 2, с. 141). Соглашаясь с мнением Д. Шоуолтера, Р.Л. ДиНардо констатирует, что «в интеллектуальном отношении Людендорф никогда не поднимался выше уровня полковника» (2, с. 141).

Национальные окраины и оккупированные территории

Наиболее обширный корпус литературы посвящён действиям воюющих государств на оккупированных территориях. Следует,

однако, отметить, что эти процессы обычно рассматриваются в отрыве от событий, происходивших внутри изучаемой страны, хотя было бы небезынтересно проанализировать её оккупационную политику в общем контексте её же национальной политики и подходов к управлению приграничными областями. Такой анализ выполняет, в частности, А.Ю. Бахтурина (РГГУ). В её монографии (1) рассматривается политика российского правительства в отношении национальных окраин империи и территорий, занятых русскими войсками (Галиция, Буковина, Турецкая Армения), на протяжении 1914–1917 гг. Обосновывая выбор этой темы, автор отмечает, что национальная политика дореволюционной России начала исследоваться относительно недавно – отчасти из-за того что история Российской империи долгое время рассматривалась по существу как история русского государства, а не многонационального, отчасти же – из-за того что единой концепции национальной политики в России того времени просто не существовало и действия имперской администрации в разных частях страны могли иметь прямо противоположную направленность. Изучение национальной политики во время войны с Германией и её союзниками представляет особый интерес, поскольку эта война значительно обострила межэтнические противоречия в России и в конечном итоге привела к распаду империи с выделением из её состава нескольких новых национальных государств. Исследование основано на документах ряда российских архивов, включая ГАРФ, РГИА, РГВИА.

Общей тенденцией в управлении различными частями России на протяжении XIX – начала XX в. было прежде всего стремление к его дальнейшей централизации и унификации, что рассматривалось в Петербурге как важнейшее условие сохранения территориальной целостности империи. На рубеже XIX–XX вв. под влиянием зарождающегося русского национализма к этому добавилась и политика русификации в некоторых регионах, но общегосударственной она так и не стала. Непосредственно в ходе Первой мировой войны политика правительства по отношению к отдельным территориям по-прежнему сильно различалась в зависимости от складывающейся там обстановки. Автономия

Финляндии была ограничена в рамках общего курса на централизацию и унификацию, но от полной её отмены было решено воздержаться, главным образом из внешнеполитических соображений. Были приняты меры к распространению русского языка, но употребление финского не ограничивалось, поэтому называть такую политику русификацией не вполне верно. Полякам было обещано освобождение от германского и австрийского владычества и воссоединение польских земель; рассматривался даже вопрос о возрождении самостоятельного польского государства, которое должно было сыграть роль буфера между Россией и Германией после окончания войны. Но отсутствие практических шагов в этом направлении лишь усилило недовольство поляков. В прифронтовой зоне, в т. ч. и на оккупированных территориях, действовала военная администрация, которая проводила собственную и довольно жёсткую политику, включавшую аресты и высылку подозрительных лиц в глубь страны, взятие заложников, тактику выжженной земли при отступлении и т. д. В оккупированных областях такие народы, как поляки или армяне, считавшиеся союзниками России, получали фактически привилегированное положение по сравнению с остальным населением. В то же время в Галиции проводилась политика насильственной русификации и репрессий против греко-католиков, что только обостряло отношения с местными жителями. В Турецкой Армении российские власти декларировали благожелательное отношение к армянам, однако их конкретные действия не встретили поддержки у населения и также привели лишь к усилению армянского сепаратизма. Непродуманные шаги правительства на национальных окраинах, таким образом, стали одним из факторов, ускоривших дезинтеграцию Российской империи.

В книге Марка фон Хагена (Колумбийский университет, Нью-Йорк) «Война на европейском пограничье» (5) анализируется оккупационная политика России, Германии и Австро-Венгрии в украинских землях, включая Галицию и Буковину. Автор попытался поместить изучаемые события в более широкий международный контекст и рассмотреть их «с такого большого числа ракурсов, с какого только возможно» (5, с. VII); в книге используются материалы из архивов России, Украины, Канады, Германии, Польши и США.

Хронологически исследование охватывает период с июля 1914 по ноябрь 1918 г., т. е. до капитуляции Центральных держав, за которой последовало расторжение Советской Россией Брестского мирного договора. Оно не затрагивает боевые действия на Украине в 1919–1920 гг.

К началу Первой мировой войны Украина была по существу разделена между двумя империями – Россией (Левобережная и Правобережная Украина) и Австро-Венгрией (Галиция и Буковина). Австрийские украинцы находились в лучшем положении, нежели российские, имели своих депутатов в австрийском парламенте (Рейхсрате) и собственный представительный орган (Сейм) во Львове (Лемберге), однако были в сложных отношениях с поляками, занимавшими большинство постов в местной администрации и рассматривавшими Галицию как часть польской территории. Россия с 1906 г. формально также являлась конституционной монархией, но с существенными оговорками. Положение поляков здесь было хуже, чем в Австрии, поскольку они считались заведомо неблагонадёжными, однако и украинцы практически не имели политического представительства, а запрет на использование украинского языка был отменён лишь в том же 1906 г., причём попытки вернуться к политике русификации предпринимались и в дальнейшем. Соответственно выстраивался и расклад политических сил по обе стороны границы. В России русские националисты относились с одинаковым предубеждением и к украинцам, и к полякам. Симпатии галицийских украинцев разделились между т. н. русофилами и украинофилами, из которых первые считали себя русскими, выступали за распространение русского языка и культуры и укрепление связей с Россией, где это движение пользовалось широкой поддержкой. Украинофилы, напротив, занимали скорее проавстрийскую позицию. Поляки ориентировались на сотрудничество с русофилами, считая украинских националистов более серьёзной угрозой своим интересам. Все эти обстоятельства сказались и на событиях в регионе в военные годы.

В определённом смысле оккупационный режим был введён в Галиции ещё до российского вторжения, в июле-августе 1914 г.

Гражданские права и свободы были резко ограничены, русофильские организации закрыты, многие лидеры русофилов, не успевшие бежать в Россию, арестованы. Аналогичные меры были предприняты против украинских националистов в России. С началом войны обе враждующие коалиции объявили одной из своих целей «освобождение» народов, «порабощённых» их противниками. Российское правительство, в частности, заявляло о своём стремлении освободить украинцев, поляков и других «братьев-славян» от австрийцев и немцев. Однако на практике в оккупированной Галиции российские власти, как уже говорилось выше, быстро перешли к политике русификации, преследованию украинских националистов и репрессиям против евреев (этому способствовал и приток в регион националистически настроенных российских чиновников), что вызвало растущее недовольство местного населения. Немцы и австрийцы, которые летом 1915 г. сумели отвоевать Галицию, а также захватить русскую часть Польши, запад Белоруссии, Литву и Курляндию, также объявили об «освобождении» населявших их народов – теперь уже от российского владычества. Но в Галиции, пишет М. фон Хаген, им пришлось действовать в более сложной обстановке, чем год назад: регион был разорён войной и тактикой выжженной земли, применявшейся русскими при отступлении, выявились территориальные противоречия между украинцами и поляками.

После того как восточная часть Галиции в 1916 г. снова была занята российскими войсками, правительство Николая II и особенно командование Юго-Западного фронта попытались учесть ошибки, допущенные во время предыдущей оккупации; новая оккупационная администрация, в частности, воздержалась от вмешательства в межнациональные и религиозные противоречия в регионе, невзирая на давление со стороны консерваторов в Совете министров. Ситуацию, однако, сильно осложняла разруха, царившая на вновь оккупированных территориях. Всё отчётливее проявлялось недовольство населения бесконечными реквизициями и использованием местных жителей на принудительных работах. Стремительное разложение армии в 1917 г. повлекло за собою

скачкообразный рост преступности в прифронтовых районах. В этих условиях лидеры украинских националистов пришли к выводу, что единственным выходом из положения может быть только немедленное прекращение войны. В феврале 1918 г. Центральным державам удалось захватить практически всю Украину, однако отсутствие заранее продуманных планов оккупации, разногласия между Германией и Австрией и сопротивление крестьян реквизициям зерна привели к постепенной утрате контроля над вновь завоёванными территориями (несмотря на то что на Украине было расквартировано около 300 тыс. немецких и австро-венгерских солдат) и провалу первоначальных замыслов относительно их экономической эксплуатации. В середине ноября, под давлением Красной армии и местных повстанцев, немцы вынуждены были начать вывод войск из Украины.

В.Г. Люлевичюс (университет Теннесси) в своих работах сосредоточился на германской оккупационной политике на Восточном фронте. Краткий обзор ситуации в занятых немцами польских, прибалтийских и украинских землях даётся, в частности, в его статье «Восточная Европа и немецкая оккупация» (7). Для Германии это был первый опыт оккупации обширных территорий на востоке Европы, он оказал определённое влияние и на позднейшую политику нацистского руководства. Идеи о колонизации западных областей Российской империи вызревали с начала войны, а захват Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, а затем и Грузии в 1918 г. воспринимался как грандиозный успех и возможность прорвать экономическую блокаду. Население оккупированных территорий немцы рассматривали по преимуществу как отсталое, обсуждались различные планы культурной колонизации. Сами местные жители поначалу относились к немецким солдатам достаточно благожелательно, однако в дальнейшем продовольственные реквизиции вкупе с принудительными работами привели к нарастанию недовольства. Как следствие, количество продовольствия и сырья, которое фактически удалось вывезти в Германию с марта по ноябрь 1918 г., составило не более 10% от запланированных объёмов. Высвободить войска, ранее действовавшие на Восточном фронте, для переброски во Францию

тоже получилось лишь частично: немцам пришлось держать на вновь завоёванных территориях до миллиона солдат и офицеров. В ноябре 1918 г., после заключения перемирия между Германией и странами Антанты, Советская Россия расторгла Брестский мирный договор, и войска Красной армии начали продвигаться на запад.

Более подробно опыт немецких военных, сражавшихся на Восточном фронте и проходивших службу в оккупированной части России, а также его воздействие на общественное мнение и политику Германии в последующие годы, в т. ч. при нацистах, рассматриваются в книге В.Г. Люлевичюса «Культура, национальная идентичность и германская оккупация в Первую мировую войну» (8). Автор прослеживает, как влияли на поведение немецких войск первоначальные замыслы военно-политического руководства кайзеровского Рейха и представления самих военнослужащих о Восточной Европе, с одной стороны, и фактическая ситуация в оккупированных областях, с другой. В методологическом отношении исследование, таким образом, находится на стыке социальной и культурной истории. В.Г. Люлевичюс отмечает также, что в западной историографии интересующая его проблематика практически не изучена, что делает неполным наше понимание не только истории Первой мировой войны в целом, но и истории событий на оккупированных советских территориях в годы Второй мировой войны.

Источниковую базу исследования составили официальные документы, пропагандистские материалы, периодика, источники личного происхождения и произведения художественного творчества. Автор использовал как германские, так и российские материалы; особое значение он придаёт, в частности, литовским источникам, позволяющим взглянуть на политику немецкой администрации «снизу», со стороны местного населения.

В книге описывается главным образом ситуация в Литве, Курляндии и Западной Белоруссии, занятых немцами в 1915 г. Эта обширная территория управлялась военной администрацией и в немецком обиходе обозначалась обычно как Ober Ost (*сокр. от нем.* Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten –

«Верховное главнокомандование всеми германскими вооружёнными силами на Востоке»). Польские земли автор не рассматривает, поскольку там была создана национальная польская администрация и отношения между оккупантами и населением складывались иначе.

Опыт германских военнослужащих на Восточном фронте был не похож на то, с чем им пришлось столкнуться на западе Европы. Россия, в отличие от Франции и Бельгии, была аграрной страной и в глазах немцев выглядела отсталой и варварской; впечатление дополнительно усиливалось разрухой, царившей на оккупированных территориях, которая в действительности была вызвана применявшейся отступающими русскими войсками тактикой выжженной земли. В подобной ситуации военные, получившие к тому же полный контроль над оккупационной администрацией, попытались реализовать в Ober Ost своеобразную военно-колониальную утопию, считая своей миссией наведение подлинного порядка на вновь завоёванных землях, просвещение их жителей и приобщение их к культуре и цивилизации. На практике, однако, такая политика натолкнулась на растущее сопротивление местного населения, что сводило на нет усилия немцев по установлению контроля над оккупированными областями и их экономической эксплуатации. Кроме того, в феврале 1918 г. подконтрольная им территория значительно расширилась, а в марте Россия подписала Брестский мир, что породило обманчивое впечатление, будто война уже наполовину выиграна. Тем сильнее было разочарование, вызванное капитуляцией самой Германии в ноябре 1918 г., и связанное с этим озлобление немцев в отношении народов Европейской России.

Любопытно, что весь этот опыт не нашёл столь яркого выражения в немецкой художественной культуре и национальном мифотворчестве, как опыт войны во Франции, однако его влияние на господствующие стереотипы и предубеждения не следует недооценивать. С этими же стереотипами и предубеждениями о странах Восточной Европы во многом перекликается и позднейшая нацистская идеология завоевания жизненного пространства на Востоке, ставшая после нападения на Советский Союз основой для ещё более жестокой оккупационной политики, предусматривавшей

уже не просто «наведение порядка» на восточных территориях, но и их физическое «очищение» от «неполноценного» населения путём геноцида.

Одними из первых ужасы германской оккупации испытали на себе жители польского города Калиша (Великопольское воеводство современной Польши, в начале XX в. центр Калишской губернии России) в самом начале Первой мировой войны; этим событиям посвящена статья Лоры Энгельстайн (Йельский университет, США) «„Наша Бельгия“: Разорение Калиша, август 1914 г.» (3). Калиш был занят немцами уже 2 августа, без всякого сопротивления: русские войска, опасаясь окружения, фактически оставили на произвол судьбы западную часть Царства Польского. Тем не менее за последующие две недели город несколько раз подвергался артиллерийским обстрелам и был практически полностью разрушен, большинство жителей разбежалось, многие были убиты, сотни взяты в заложники. Причины такой жестокости немцев остаются неясными, несмотря на расследования, предпринятые российскими властями в 1915 и польскими – в 1916 гг. Германская пропаганда впоследствии утверждала, будто солдаты Силезского ландверного корпуса, занявшие Калиш, были обстреляны местными жителями; российская сторона, напротив, обвиняла противника в немотивированном насилии. Высказывались также версии о том, что немцы сами обстреляли друг друга по ошибке или даже по злому умыслу командования. Разрушение Калиша воспринималось в России как своеобразный символ варварства оккупантов. Очень скоро этот город стали называть «нашей Бельгией», имея в виду сходство его судьбы с разрушением городов и репрессиями против мирного населения, имевшими место на оккупированной немцами бельгийской территории.

Особенностью калишских событий были на удивление мирные, если учесть общий контекст того времени, межэтнические отношения в городе, где проживали поляки, евреи (половина и треть населения соответственно), русские и небольшое количество немцев. В свидетельствах горожан, переживших эти события, отсутствуют нападки на евреев, а местные русские не склонны были подозревать в измене поляков. Вместо этого в сохранившихся описаниях

подчёркивается солидарность жителей Калиша перед лицом общей беды. Аналогичной позиции придерживалась и царская пропаганда, поскольку правительство Николая II было заинтересовано в лояльности своих польских подданных. Калишские немцы тоже были признаны жертвами оккупантов.

С описанными проблемами связана и такая тема, как насильственные перемещения населения в России в период Первой мировой войны, о которых идёт речь в статье Джошуа А. Санборна (колледж им. Лафайета, Истон, Пенсильвания) (10). Избранный им подход примечателен тем, что в качестве составной части массовых миграций анализируются среди прочего перемещения военнослужащих в ходе мобилизации, стратегического развёртывания и боевых действий. Поскольку формально эти процессы миграциями не являются, в исторической науке они обычно рассматриваются в отрыве от событий в тылу, несмотря на то, что опыт солдат и перемещённых лиц из числа мирных жителей имеет определённое сходство (отрыв от родной среды, длительное пребывание в непривычном окружении, часто враждебном, и т. п.). Подход, применяемый Дж.А. Санборном, позволяет исследовать передвижения солдат, военнопленных, беженцев, депортированных и др. как целостный процесс, в общем социальном контексте того времени, и тем самым глубже понять не только историю Первой мировой войны, но и её взаимосвязь с последующими катаклизмами в истории России. К примеру, Гражданская война, по мнению Дж.А. Санборна, является результатом изучаемых им процессов едва ли не в большей степени, чем последствием революции 1917 г.; более того, разлад в российском социуме, вызванный войной против Германии, сделал начало гражданской войны практически неизбежным вне зависимости от расклада политических сил в стране и результатов борьбы между ними.

Антисемитизм

Монография Александра Прусина (университет Теннесси) «Приграничье и национализм» (9)[10] посвящена антисемитизму в Галиции в годы Первой мировой войны и последующих вооружённых конфликтов в Восточной Европе, включая советско-польскую войну 1920 г. Автор исследует предубеждения против евреев как своеобразную форму «социальной паранойи», рассматривает различные формы насилия в отношении евреев, государственного и спонтанного.

Исторически австрийское правительство проводило политику терпимости и уважения к культурам народов, населявших империю; не были исключением и евреи. Отношения между ними и другими жителями Галиции – поляками и украинцами – долгое время также были вполне добрососедскими. Рост антисемитизма в регионе начался лишь в конце XIX в. и был обусловлен, с одной стороны, переменами в экономике Галиции и социальной структуре её населения, связанными с индустриализацией, и с другой стороны, с зарождением польского и украинского национализма. Тем не менее, вплоть до начала войны проявления антисемитизма были ещё довольно эпизодическими, и галицийские евреи проживали в целом в лучших условиях, нежели российские, подвергавшиеся не только нападкам соседей-христиан, но и дискриминации на государственном уровне.

На протяжении рассматриваемого периода евреи Галиции испытали несколько волн насилия: в период русского наступления осенью 1914 г. и отступления летом 1915 г., во время польского наступления весной 1919 г., а также летом 1920 г., когда Польша оказалась на грани поражения в войне с Советской Россией.

[10] Ср. его более позднюю работу в развитие этой темы: Prusin A.V. A "zone of violence": The anti-Jewish pogroms in Eastern Galicia in 1914–1915 and 1941 // Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands / Ed. by O. Bartov and E.D. Weitz. – Bloomington: Indiana univ. press, 2013. – P. 362–377.

Государственные репрессии (аресты, депортации, вытеснение евреев из определённых отраслей экономики, мобилизации на принудительные работы) сопровождались спонтанными вспышками насилия (погромы, мародёрство и т. д.). Различные политические движения практиковали и такие относительно мирные акции, как бойкот еврейских магазинов. До массовых убийств, подобных турецким репрессиям против армян в те же годы или нацистскому «окончательному решению еврейского вопроса» во время Второй мировой войны, дело не доходило; ни правительство Российской империи, ни возвратившая свою независимость Польша не ставили своей целью физическое уничтожение еврейского населения.

Автор приходит к выводу, что сами по себе антисемитские настроения являются не единственной причиной массового насилия в отношении евреев. Чтобы ненависть выплеснулась наружу, необходим катализатор, в качестве которого в 1914–1920 гг. в Галиции выступили неурядицы военного времени, резко обострившие противоречия и конфликты, накопившиеся в обществе к тому моменту. Сыграло свою роль и разрушение австрийских государственных институтов в регионе в результате российского вторжения.

Питер Холквист (университет Пенсильвании) в статье «Роль личности в первой (1914–1915) русской оккупации Галиции и Буковины» (6) описывает роль генерала Н.Н. Янушкевича, начальника штаба Верховного главнокомандующего, и В.Н. Муравьёва, вице-директора дипломатической канцелярии при Ставке, в осуществлении антисемитской политики в Галиции. Статья написана главным образом по материалам дневника профессора-юриста В.Э. Грабаря, с августа 1914 г. занимавшего в той же дипломатической канцелярии должность советника по правовым вопросам и снятого с этой должности под предлогом болезни весной 1915 г. из-за несогласия с действиями русского командования, многократно нарушавшего нормы международного гуманитарного права. Репрессии против евреев Галиции и Буковины раскручивались по нарастающей с начала 1915 г. По своему характеру (депортации, этнические чистки и т. д.) они в определённом смысле предвосхитили трагические события времён Второй мировой войны, однако их масштабы, к счастью, сильно

ограничивало отсутствие необходимых государственных институтов. После отступления из Галиции в мае-июне 1915 г. аналогичные меры предпринимались в прифронтовых районах и на российской территории. В августе того же года генерал Янушкевич и Верховный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич были сняты со своих постов, оккупационная политика в Галиции признана ошибочной. Это повлекло за собою свёртывание систематических репрессий против евреев, хотя случаи спонтанного насилия имели место и в дальнейшем.

Список литературы

1. Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: Государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). – М.: РОССПЭН, 2004. – 389 с.

2. DiNardo R.L. Breakthrough: The Gorlice-Tarnów campaign, 1915. – Santa Barbara (Calif.): Praeger, 2010. – XVI, 215 p.

3. Engelstein L. «A Belgium of our own»: The sack of Russian Kalisz, August 1914 // Kritika. – 2009. – Vol. 10, N 3. – P. 441–473.

4. Gatrell P. War after the war: conflicts, 1919–23 // A companion to World War I / Ed. by J. Horne. – Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. – P. 558–575.

5. Hagen M. von. War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. – Seattle; L.: Herbert J. Ellison center for Russian, East European, and Central Asian studies, University of Washington; Distributed by the Univ. of Washington press, 2007. – XII, 122 p.

6. Holquist P. The role of personality in the first (1914–1915) Russian occupation of Galicia and Bukovina // Anti-Jewish violence: Rethinking the pogrom in East European history / Ed. by J. Dekel-Chen, D. Gaunt, N. M. Meir, I. Bartal. – Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 2010. – P. 52–73.

7. Liulevicius V. G. German-occupied Eastern Europe // A companion to World War I / Ed. by J. Horne. – Chichester, U.K.;

Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. – P. 447–463.

8. Liulevicius V. G. War land on the Eastern Front: Culture, national identity, and German occupation in World War I. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – VIII, 309 p.

9. Prusin A. V. Nationalizing a borderland: War, ethnicity, and anti-Jewish violence in East Galicia, 1914–1920. – Tuscaloosa: Univ. of Alabama press, 2005. – XVI, 181 p.

10. Sanborn J. A. Unsettling the empire: violent migrations and social disaster in Russia during World War I // The journal of modern history. – 2005. – Vol. 77, N 2. – P. 290–324.

11. Showalter D. War in the East and Balkans, 1914–18 // A companion to World War I / Ed. by J. Horne. – Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. – P. 66–81.

12. Tunstall G. J. Blood on the snow: The Carpathian winter war of 1915. – Lawrence (Kan.): Univ. press of Kansas, 2010. – IX, 258 p.

РЕЙНОЛЬДС М.

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИЙ: СТОЛКНОВЕНИЕ И КРАХ ОСМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЙ, 1908–1918.

REYNOLDS M.A.

SHATTERING EMPIRES: THE CLASH AND COLLAPSE OF THE OTTOMAN AND RUSSIAN EMPIRES, 1908–1918. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 303 p.
(Реферат)

Монография доцента Принстонского университета Майкла Рейнольдса, состоящая из введения, 8 глав и послесловия, посвящена истории соперничества Российской и Османской империй в начале XX века, начиная с Младотурецкой революции 23 июля 1908 г., когда султан Османской империи вынужден был отказаться от абсолютной власти и объявил о восстановлении Конституции, действие которой было приостановлено тремя десятилетиями ранее, и заканчивая периодом Первой мировой войны. По мнению автора, процесс распада этих империй был и причиной, и – в то же время – следствием войны. Этот процесс привёл к гибели миллионов людей и кардинально изменил геополитическую ситуацию как на Ближнем Востоке, так и в Евразии в целом. Вопреки распространённым представлениям о том, что противостояние России и Турции было обусловлено «конфликтом

национализмов», Рейнольдс рассматривает их столкновение как результат геополитической конкуренции в условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка.

Противостояние России и Османской империи вначале XX столетия, обусловленное столкновением их интересов в пограничных областях – на Кавказе и в Анатолии, стало завершением длительной истории их противоборства. Несмотря на то, что силы этих двух империй были далеко не равными, ни одна из них не одержала победы в этой борьбе. Парадоксальным образом, по мнению автора, инстинкт самосохранения привёл эти империи к краху. Боязнь распада империи подвигла младотурецкую элиту на разрушение традиционного имперского порядка в своей державе; стремление же России максимально обезопасить свои южные рубежи побуждало её стремиться к дальнейшему расширению государственной территории, ресурсов для которого уже не было, и тем самым приближать гибель империи. Противостояние разрушало эти две империи; они, в свою очередь, несли неисчислимые бедствия народам, населявшим их приграничные области.

Практически одновременный крах трёх казавшихся достаточно мощными многонациональных империй – Российской, Османской и Австро-Венгерской дал основание многим исследователям предположить, что основной причиной их падения явился подъём национализма в условиях становления нового мирового порядка, основополагающим принципом которого стало признание принципа национального самоопределения как основы для государственного строительства. Возникновение после Первой мировой войны и в середине XX века именно на этнической основе множества новых государств на обломках рухнувших империй в Евразии и на Ближнем Востоке рассматривается обычно как проявление неодолимой силы национализма, оказавшегося способным смести ранее существовавшие многонациональные государства. Именно с этим Рейнольдс связывает то, что последнее десятилетие Османской Турции обычно рассматривается не как завершающий этап длительной имперской истории, но скорее как «прелюдия к возникновению (или возрождению) нескольких самостоятельных национальных государств;

соответственно, акцент при рассмотрении данного периода турецкой истории делается на пробуждение этнонационалистических устремлений, зарождение и развитие националистических движений на территории империи. Таким образом историки, изучающие турок, арабов, армян, албанцев и т.д., анализируют последние годы Османской империи как эпоху конкуренции национализмов» (с. 3). Кажущаяся вездесущность национализма приводит к тому, что некоторые историки фактически уподобляют его непреодолимым силам природы.

Однако М.Рейнольдс в своём исследовании отказывается от подобной национально-исторической перспективы и считает необходимым анализировать события в Османской империи и граничивших с ней регионах Российской империи как результат взаимодействия двух *государств-акторов,* рассматриваемых в глобальном геополитическом контексте. Соответственно, именно межгосударственное соперничество, а не этнонациональные движения представляются автору монографии ключом к пониманию тех событий, которые происходили в пограничных регионах этих империй в начале XX столетия. В то же время Рейнольдс стремится рассмотреть и то, каким образом динамика глобального межгосударственного соперничества влияла на региональные повестки дня, в частности содействуя формированию новых политических идентичностей.

М.Рейнольдс подчёркивает, что система международных отношений конца XIX – начала XX века была многополярной, – не существовало одного или двух государств, по своей мощи явно превосходивших всех остальных. Такая многополярность предоставляла Османской империи возможность играть на противоречиях между центрами силы; в этой игре турки за долгое время стали настоящими мастерами. Однако чем дальше, тем очевиднее именно Российская империя становилась не только самым большим, но и самым опасным конкурентом Турции. Прежде всего, именно Россия непосредственно граничила с Османской империей и неуклонно выдавливала её с Балкан и Кавказа. При этом, в отличие от другого соседа и конкурента – Австро-Венгрии, Россия явно набирала силу. Конечно, Турцию в её противостоянии с Россией не раз

поддерживали Великобритания и Франция; при определённых обстоятельствах такое могло произойти и в будущем. Однако, как подчёркивает Рейнольдс, эти державы имели и собственные экономические и геостратегические амбиции в регионе и нередко реализовывали их в ущерб турецким интересам, как, например, в 1878 г., когда Великобритания установила контроль над стратегически важным Кипром – такой оказалась расплата за британскую дипломатическую поддержку Турции против России.

В этой геополитической ситуации естественным союзником Турции становилась Германия. Она была богата и мощна, при этом не имела границ с Османской империей и не посягала на её владения. Как и Стамбул, Берлин был заинтересован в ослаблении экспансии других европейских держав на Ближнем Востоке. Что важнее всего, эти державы сближала глубокая обеспокоенность возвышением России. Наконец, немало немецких мыслителей на рубеже XIX – XX вв. считали возможным использовать потенциал панисламистских идей как революционной силы, способной подорвать позиции Российской и Британской империй, а также Франции с её обширными колониальными владениями. Эта доктрина была поддержана кайзером Вильгельмом II, заявившим в ходе своего визита в Сирию, что все 300 миллионов мусульман на планете обрели в его лице вечного друга.

Рассматривая отношения России и Османской империи с момента Младотурецкой революции до июльского кризиса 1914 г., положившего начало мировой войне, автор стремится определить «структурные и системные детерминанты, которые формировали российско-турецкие отношения на межгосударственном уровне, или на уровне “высокой политики”» (с.19). Рейнольдс использует понятие «соревновательной анархии» («competitive anarchy») для характеристики природы международных отношений в этот период, когда Порта и Петербург выстраивали отношения друг с другом, стремясь к максимальной безопасности для себя. «Несмотря на то, что Россия превосходила по своей мощи Османскую империю, угрозы безопасности России, порождённые её конкуренцией с другими великими державами, вынуждали Россию занимать достаточно агрессивную позицию в отношении переживавшей не лучшие времена

Турции. Нельзя сказать, что взаимная симпатия и добрая воля напрочь отсутствовали в отношениях между элитами двух государств, однако этого было явно недостаточно для обеспечения дружественных межгосударственных отношений в контексте глобальной политики» (там же).

Переходя далее к анализу того, как Россия и Турция стремились обеспечить свою безопасность на уровне региональной, «низовой» политики («low politics»), Рейнольдс подчёркивает, что, в отличие от государств-наций, где достаточно однородное по своему этническому составу население управляется выстроенными в рамках единой схемы государственными структурами, империи имеют в своём составе территории не только с преобладанием тех или иных этнических групп, но зачастую и со специфическими структурами управления, которые не всегда действуют согласованно с имперскими властями, а порой даже в чём-то конкурируют с ними. Это обстоятельство делает империи особенно уязвимыми. А российско-турецкая граница в начале XX века разделила некоторые народы между двумя государствами, что стало предпосылкой для возникновения ситуации, в которой каждая из сторон стремилась дестабилизировать пограничные области соседнего государства, рассчитывая таким образом реализовать свои геополитические интересы. Рассматривая российскую политику в отношении Восточной Анатолии, Рейнольдс считает, что Россия стремилась стимулировать развитие локальных идентичностей и их конкуренцию внутри Османской империи, продвигая концепт национальной идеи. Поскольку царские чиновники уже видели, как развитие национального самосознания народов, населявших российскую Империю, меняло политическую ситуацию в их собственной стране, они рассчитывали, что подобная политика обеспечит серьёзные проблемы турецким властям. Такие представления во многом определили стратегию и тактику российской политики в отношении Восточной Анатолии, где Россия делала ставку на местных курдов и иные национальные группы.

Вступление Османской империи в Первую мировую войну не было обусловлено панисламистскими или пантюркистскими амбициями; оно, по мнению М.Рейнольдса, было тщательно

продуманным решением, призванным упрочить безопасность Турции. Вступление в войну рассматривалось турецкими властями как оптимальная возможность использовать противоречия великих держав в собственных интересах и обеспечить для Турции по завершении войны продолжительный период стабильности, который должен был быть использован для осуществления жизненно важных преобразований без иностранного вмешательства.

«Решение Османской империи вступить в войну на стороне Германии было абсолютно рациональным в условиях, когда Турция находилась в настолько затруднительном положении, что была не только не в состоянии защитить себя от возможного вторжения извне, но даже провести внутриполитические реформы, направленные на укрепление государственности, в условиях активной подрывной деятельности. Мощная, богатая и в то же время территориально удалённая Германия рассматривалась Турцией как лучший противовес России, её главной экзистенциальной угрозе, а также Великобритании и Франции, которые ранее уже захватывали турецкие владения и стремились к новым территориальным приобретениям. Война на Европейском континенте повышала геополитический вес Османской империи, а также давала основания Энвер-паше рассчитывать на укрепление своих внутриполитических позиций» (с. 138).

Однако у Турции не было чёткого плана военных действий в отношении России. Когда задержка вступления в войну Болгарии блокировала возможность наступления турецких войск через Балканы в направлении России, турецкие и немецкие военные специалисты рассматривали различные варианты морских и сухопутных операций в районе Черноморского побережья России, однако пришли к выводу, что логистические и иные сложности делали их невыполнимыми. Таким образом, Кавказ и Иран оказались единственно возможным театром военных действий Османской империи против России.

Несмотря на то, что для России Кавказский фронт был не самым важным, русские войска сумели нанести ряд серьёзных поражений туркам и продвинуться как вглубь Анатолии, так и вдоль черноморского побережья. В дипломатическом отношении это позволяло России в будущем рассчитывать на уступки со стороны

англичан и французов по вопросу о контроле над Стамбулом и проливами, а также над значительной частью Восточной Анатолии. Однако единства мнений среди российской элиты по вопросу о том, как распорядиться плодами этих побед, не было. Отчасти Рейнольдс связывает это с тем, что Россия, вступая в войну, не имела чётких планов относительно будущего данного региона. Многие представители высшей российской бюрократии без энтузиазма относились к перспективе аннексии Восточной Анатолии, прежде всего потому, что считали армян одним из самых беспокойных народов и полагали, что Армения для Российской империи станет бременем и источником всевозможных осложнений. Поэтому вплоть до 1916 г. официальная российская позиция сводилась к тому, что после войны Восточная Анатолия вернётся под номинальный контроль Османской империи, однако российские власти создадут особую структуру для контроля над местной администрацией.

Как показано в монографии, Турция стремилась оказывать влияние на российских мусульман в надежде превратить их в орудие подрывной деятельности против имперских властей; в этих же целях турки пытались наладить отношения с националистическими украинскими и грузинскими организациями и понтийскими греками.

Война, по мнению автора, во многом трансформировала понимание национальной идеи и легитимности. В этой связи массовое истребление армян, находившихся под турецкой властью, и начавшаяся тюркизация Анатолии в годы войны представляются автору не проявлениями агрессивного национализма, а спланированной акцией, призванной обеспечить реализацию государственных интересов Османской империи.

Рассматривая политику Турции в отношении революционной России в 1917-18 гг., Рейнольдс исходит из того, что турецкие власти считали ослабление России явлением временным и потому стремились, используя представившуюся возможность, извлечь из этой ситуации максимум выгод для себя. Политика Османской империи в этот период не имела никакой идеологической мотивации, - это было прагматичное стремление воспользоваться изменениями в региональном балансе сил. Турки теперь стремились не просто

восстановить границу с Россией на Кавказе по состоянию на 1914 г., вернув потерянные в ходе войны территории, но и аннексировать провинции, когда-то входившие в состав Османской империи – Карскую, Ардаганскую и Батумскую, а также создать на Кавказе одно или несколько буферных государств прежде, чем новая российская власть сможет укрепить свои позиции. В этой связи появление Грузии, Армении и Азербайджана как независимых государств рассматривается М.Рейнольдсом не столько как результат развития национального самосознания народов Кавказа, сколько как следствие конкуренции крупных держав в условиях становления новой системы регулирования международных отношений.

Турецкую экспансию в Азербайджан и Дагестан в 1918 г. автор опять-таки рассматривает не в категориях этно-религиозной солидарности, а как последовательную реализацию геополитических императивов, продолжавших определять политику Османской империи, главным из которых являлось стремление обеспечить существование независимых азербайджанского и северокавказского государств как «страховки» от будущего возрождения России.

К лету 1918 г. турецкие власти рассматривали Великобританию и своего номинального военного союзника Германию как потенциальные угрозы сохранению Османской империи. Понимая, что война в скором времени завершится подписанием мирного договора, турки стремились максимально использовать своё временное доминирование на Кавказе, чтобы попытаться установить такой послевоенный порядок, который минимизирует российское, немецкое и британское влияние в регионе, обеспечив существование международно признанных независимых государств в Грузии, Армении, Азербайджане и на Северном Кавказе. Это разительно отличало турецкую политику в отношении данных государственных образований от того курса, который младотурки проводили в отношении «реаннексированных» бывших турецких провинций – Карса, Ардагана и Батуми.

«Вступая в войну, турецкие лидеры сделали высокие ставки и в результате проиграли всё. Единственным достижением Османской империи в итоге оказалось то, что она пережила Российскую империю

и сумела на короткое время создать для себя буферную зону на Кавказе. Но уже Мудросское перемирие перечеркнуло все эти достижения и положило начало распаду Османской империи». В соответствии с условиями перемирия, заключённого представителями Антанты и Турции в порту Мудрос 30 октября 1918 г., «Османская империя обязывалась эвакуировать все свои войска с Кавказа и из Ирана, отведя их за линию довоенных границ; кроме того, ей было предписано ликвидировать все гарнизоны в Хиджазе, Асире, Йемене, Сирии, Киликии и Ираке, в портах Триполитании и Киренаике. Кроме того, страны Антанты получили право установить контроль над Босфором и Дарданеллами, а также над Батуми; Турции запрещено было претендовать на оккупацию Баку. Перемирие также предоставило право Союзным державам занять шесть Восточно-Анатолийских провинций, на которые заявила свои права Армения…, в случае возникновения там каких-либо беспорядков, и, наконец, ввести войска в любую точку Османской империи в случае, если державы-победительницы сочтут, что оттуда исходит угроза их безопасности» (с. 252). Лидеры младотурок вынуждены были с позором бежать из Стамбула; в скором времени были убиты все члены правившего в годы войны Турцией «триумвирата» - Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша. Это стало началом крушения Османской империи. Британия продолжала поддерживать (ещё с 1916 г.) выступление бедуинских племён против имперских властей, провозглашённое англичанами «Великой арабской революцией»; эта поддержка не ослабла и после окончания Первой мировой войны, причём англичане стимулировали этническую дифференциацию арабов и их национальные чувства, с тем чтобы обеспечить в итоге отделение арабских территорий от Османской державы. Наконец, британцы оккупировали Стамбул и разместили свои войска на всём протяжении Транскавказской магистрали, заполняя тем самым вакуум, оставшийся здесь после коллапса Российской империи.

В послесловии своей монографии М.Рейнольдс проводит параллели между развитием Советской России и кемалистской Турции в 1920-х гг. Обе эти страны, являясь наследниками рухнувших империй, вынуждены были адаптироваться к изменившейся и крайне

неблагоприятной для них геополитической ситуации, что подтолкнуло их к сотрудничеству друг с другом. Кроме того, как советские лидеры, так и Ататюрк со своим окружением осознавали необходимость проведения всесторонних и радикальных реформ не только системы государственного управления, но и экономических, культурных и, в целом, общественных отношений ради выживания их государств. При этом Рейнольдс полагает, что кемалисты активно использовали опыт внутренней политики советского руководства и, более того, «их вдохновляла сама советская модель ведомого государством развития (“state-led development”)» (с. 259.)

С.В.Беспалов

САНБОРН ДЖ.

ГЕНЕЗИС РУССКОГО ВОЖДИЗМА: ВЛАСТЬ НАСИЛИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН

SANBORN J.

THE GENESIS OF RUSSIAN WARLORDISM: VIOLENCE AND GOVERNANCE DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE CIVIL WAR
// Contemporary European history. – 2010. – Vol. 19, special issue 03. – P. 195–213.
(Реферат)

В реферируемой статье Джошуа Санборна (колледж им. Лафайета, Истон, США) рассматривается феномен полугосударственных, полувоенных, полубандитских образований, в немалом количестве существовавших на территории бывшей Российской империи в годы Гражданской войны. Автор обозначает это явление термином «вождизм» (*англ.* warlordism, от warlord – «(полевой) командир», а также «военный диктатор»), который долгое время употреблялся в основном применительно к аналогичной ситуации, существовавшей в 1920-е годы в Китае, однако в современной политической науке получил более широкое распространение в связи с тем, что на рубеже XX–XXI вв. явления того же порядка встречаются довольно часто в самых разных странах, переживших коллапс государственной власти. Под «вождём» (warlord) Дж. Санборн понимает «военного командира, самостоятельно

осуществляющего политическую власть на основе угрозы применения силы» (с. 197).

Феномен вождизма в новейшей истории любопытен прежде всего тем, что человечество в прошлом уже применяло подобные способы политического устройства, но со временем они рано или поздно вытеснялись привычной нам формой государства-бюрократии, обладающего своими недостатками, но в целом в меньшей степени склонного к насилию и в большей – к заботе о благосостоянии своих граждан. В XX в. вождизм выглядел уже анахронизмом, антитезой государству и тем не менее пережил своеобразный ренессанс.

История вождизма в России – тема довольно обширная, поэтому в своей статье Дж. Санборн анализирует прежде всего генезис этого явления. Он отмечает, что необходимыми условиями его возникновения в современном мире являются, во-первых, развал государства и, во-вторых, наличие потенциальных кандидатов на роль вождей, т. е. «людей с военным опытом, обладающих достаточным индивидуальным авторитетом, чтобы обеспечить повиновение своих бойцов, с политическими амбициями, проявляющих интерес к делам гражданского населения и высокую готовность к риску» (с. 198). В Российской империи люди такого склада обычно выходили из казаков и некоторых других военизированных социальных групп.

Непосредственным толчком к зарождению вождизма в нашей стране была, по мнению автора, даже не Гражданская война и не революция, а Первая мировая война, которая не только породила многочисленный слой профессиональных военных, но и предоставила им политическую власть. Одновременно с началом мобилизации Николай II перевёл на военное положение значительную часть Европейской России. На этой огромной территории, которая теперь официально считалась прифронтовой зоной, применялись законы военного времени, а местная администрация подчинялась армейскому руководству. Автор подчёркивает, что в истории России это был беспрецедентный случай: в прежние времена управление отдельными приграничными регионами могло быть в той или иной степени милитаризировано, да и сами императоры носили военную форму и имели соответствующее образование, но ни один из них не пытался

утвердить свою власть на одном лишь вооружённом насилии; передача существенной части страны под прямое управление армии также никогда прежде не практиковалась. Военные, получив столь широкие полномочия, не преминули ими воспользоваться, причём для осуществления мероприятий, весьма далёких от удовлетворения текущих нужд подчинённых им войск или обеспечения безопасности населения. В прифронтовых областях практиковались среди прочего депортации немцев и евреев в глубь страны (часто в предельно грубой, жестокой форме), конфискация немецкой собственности и т. д. Армия, таким образом, не ограничилась ведением войны как таковой, но и попыталась реализовать свою собственную социально-политическую программу.

К числу наиболее заметных фигур данного периода автор относит генерала Н.Н. Янушкевича, который с начала войны и до августа 1915 г. занимал пост начальника штаба Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича и за время пребывания в этой должности успел организовать целую серию мероприятий по «очищению» зоны боевых действий от немцев, евреев и прочих «подозрительных лиц» и превращению оккупированной Галиции в этнически чистую русскую область. Другой известный военачальник Первой мировой, генерал Л.Г. Корнилов, сибирский казак по происхождению, не только был убеждённым сторонником террора как способа поддержания порядка в разваливающихся частях, но и попытался в августе 1917 г. совершить военный переворот – иными словами, распространить власть армии уже на всю страну, а не только на прифронтовую зону. «Таким образом, – заключает Дж. Санборн, – хотя августовское выступление Корнилова обычно рассматривается как наиболее значительная контрреволюционная акция в 1917 г., в определённом смысле это был также момент, когда революция (в смысле неподчинения установившейся иерархии власти) достигла своего апогея» (с. 207). Любопытно, что и провал корниловского мятежа был обусловлен не силой государства, а напротив, тем самым разложением гражданской администрации и армии, которое сделало возможным сам мятеж. Неудачный опыт Корнилова показал также, что вождизм в общегосударственном

масштабе практически неосуществим из-за невозможности эффективно контролировать всю территорию империи. Такой способ управления мог быть сколько-нибудь успешным лишь на локальном или региональном уровне.

Корнилов учёл этот опыт позже в том же году, когда после Октябрьского переворота принял участие в создании Добровольческой армии. Сформированная на Дону, т. е. в казачьих землях, и первоначально почти целиком состоявшая из офицеров, она может рассматриваться как первая в точном смысле вождистская структура на территории России. В дальнейшем на разных этапах Гражданской войны в стране существовало немало других похожих образований, различавшихся по размерам, долговечности и идеологической направленности.

В истории вождизма в азиатской части России автор выделяет фигуру генерала Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга. Не будучи казаком по происхождению, он несколько лет прослужил в казачьих частях, что оказало своё влияние на его менталитет и стиль руководства; по словам Дж. Санборна, он «воевал, как казак, – проявляя храбрость на поле боя и варварство по отношению к гражданскому населению» (с. 209). В отдельных случаях черты вождизма были заметны и в действиях некоторых местных коммунистических лидеров. Общим для всех вождистских «государств» и «армий» было исключительно жестокое отношение к мирным жителям в зоне боёв и очевидная неспособность обеспечить безопасность и удовлетворить другие насущные нужды собственных «граждан». Неудивительно, что значительная часть населения России была заинтересована не столько в победе большевиков или их противников, сколько в окончании гражданской войны как таковой.

С учётом этих обстоятельств автор приходит к выводу, что вождизм был вполне предсказуемым результатом коллапса государственной власти в разгар тяжёлой войны. При этом в новых условиях XX столетия вождистские образования оказались весьма непрочными, их исчезновение с политической карты было лишь вопросом времени и зависело прежде всего от того, какая из противоборствующих группировок и насколько быстро сумеет

подчинить себе военных и восстановить государственные институты. Вопреки ожиданиям многих такой группировкой стали большевики. Это тем более любопытно, что ленинская партия отнюдь не была монолитной, в её руководстве регулярно возникали серьёзные разногласия и к тому же имелось немало людей, обладавших достаточными знаниями, опытом и харизмой для того, чтобы выстроить свою собственную военную диктатуру; наиболее очевиден пример Троцкого, в адрес которого, кстати, выдвигались обвинения в бонапартизме. Сделанный им и другими большевистскими лидерами выбор в пользу полноценного государства Дж. Санборн связывает с тем, что по своему основному роду деятельности все они были политиками, а не военными, и в этом качестве обладали более широким кругозором, чем генералы, решившие заняться политикой.

М.М. Минц

ОБРАЗ ВРАГА В СОЗНАНИИ РУССКИХ И НЕМЦЕВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Сводный реферат)

1. СЕНЯВСКАЯ Е. С. ПРОТИВНИКИ РОССИИ В ВОЙНАХ XX ВЕКА: ЭВОЛЮЦИЯ «ОБРАЗА ВРАГА» В СОЗНАНИИ АРМИИ И ОБЩЕСТВА. – М.: РОССПЭН, 2006. – 287 с.: ил.

2. СЕРГЕЕВ Е. Ю. «ИНАЯ ЗЕМЛЯ, ИНОЕ НЕБО…»: ЗАПАД И ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ (1900–1914 гг.). – М.: Б/и, 2001. – 282 с.

3. ЭНГЕЛЬСТАЙН Л. «НАША БЕЛЬГИЯ»: РАЗОРЕНИЕ КАЛИША, АВГУСТ 1914 Г.

ENGELSTEIN L. "A Belgium of our own": The sack of Russian Kalisz, August 1914 // Kritika. – 2009. – Vol. 10, № 3. – P. 441–473.

4. ЯН Х. Ф. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

JAHN H. F. Patriotic culture in Russia during World War I. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 1995. – XVI, 229 p.

5. ЯН П. «ЦАРСКОЕ ДЕРЬМО, ВАРВАРСКОЕ ДЕРЬМО»: РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1914 Г. И НЕМЕЦКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

JAHN P. „Zahrendreck, Barbarendreck": Die russische Besetzung Ostpreußens 1914 in der deutschen Öffentlichkeit // Verführungen der Gewalt: Russen u. Deutsche im Ersten u. Zweiten Weltkrieg / Hrsg. von K. Eimermacher, A. Volpert; Unter Mitarb. von G. Bordjugow. – München: Fink, 2005. – S. 223–241.

Непрерывное взаимодействие государств и наций между собой неизбежно формирует у их представителей определённый набор суждений и стереотипов друг о друге. Эти представления, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейшее развитие отношений. В конфликтных ситуациях, особенно в период войны или военной опасности, представления о другой стране, её народе принимают форму образа врага. Развитие этих процессов в прошлом изучается в последние годы довольно активно в рамках исторической имагологии – относительно молодой научной дисциплины, функционирующей на стыке истории, социологии, психологии, этнологии, конфликтологии, культурологии и т. д. Рассмотрим подробнее несколько отечественных и зарубежных работ, авторы которых затрагивают вопрос об образе врага в сознании русского и немецкого общества накануне и в годы Первой мировой войны.

Монография Е.С. Сенявской (Институт российской истории РАН) (1) посвящена восприятию союзников и противников России и СССР в российском/советском обществе в XX веке и хронологически охватывает период начиная с русско-японской войны 1904–1905 гг. и заканчивая войной 1979–1989 гг. в Афганистане. Автор опирается на довольно широкий круг источников, включая как официальные документы военного ведомства, разведки, пропаганды, так и источники личного происхождения, произведения литературы и искусства, данные устной истории и др.

Помимо анализа конкретно-исторического материала, книга содержит и пространный теоретический раздел, посвящённый самому понятию образа врага. Е.С. Сенявская определяет его как «представления, возникающие у социального (массового или индивидуального) субъекта о другом субъекте, воспринимаемом как несущий угрозу его интересам, ценностям или самому социальному и физическому существованию, и формируемые на совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, стереотипов и информационно-пропагандистского воздействия. Образ врага, как правило, имеет символическое выражение и динамический характер, зависящий от новых внешних воздействий информационного или

суггестивного типа» (1, с. 20). Критикуя различные упрощённые трактовки образа врага как искусственной, сугубо идеологической конструкции, автор настаивает, что это явление имеет более сложную природу и возникает скорее в результате наложения искусственных образов, насаждаемых пропагандой, на уже существующие стереотипы о неприятеле, а также на объективный опыт взаимодействия с ним.

Источники, характеризующие представления участников Первой мировой войны о противнике, автор подразделяет на три основные группы: пропагандистские материалы и пресса; боевые донесения и доклады; источники личного происхождения. Пропаганда пыталась навязать населению определённый заранее разработанный образ врага, однако оперировала чаще всего слишком абстрактными понятиями (славянство, братья-сербы, честь России, слава русского оружия и т. п.). С учётом того, что основную массу населения страны (а значит, и личного состава армии) в то время по-прежнему составляли крестьяне, по большей части неграмотные или малограмотные, которым такие абстракции были просто непонятны, неудивительно, что эти идеи положительного отклика как правило не вызывали, хотя со временем пропагандисты и пытались более гибко подстроиться под особенности мышления своих читателей. Боевые донесения и доклады, напротив, отличались аналитическим характером и были основаны на данных разведки и результатах непосредственного взаимодействия с противником.

Источники личного происхождения позволяют исследовать истинные представления и настроения их авторов, сопоставить их с теми концепциями, которые продвигались официальной пропагандой. Письма, дневники и воспоминания фронтовиков отражают их персональный фронтовой опыт и восприятие ими тех вражеских солдат, с которыми им самим приходилось сражаться.

Анализ всех этих источников показывает, что в сознании русских военнослужащих и гражданского населения сосуществовали два фактически независимых образа врага, которые автор характеризует как «глобальный» и «бытовой» (1, с. 71–72). Первый из них включал общие представления о государствах-противниках, был крайне

негативным по содержанию и отличался известным постоянством; в определённой степени он сохранился и после окончания боевых действий. Германия и её союзники представлялись жестокими и коварными агрессорами, ответственность за развязывание войны целиком и полностью возлагалась на них. «Бытовой» образ врага, формировавшийся в результате непосредственных контактов с солдатами противника в бою, с военнопленными и гражданским населением оккупированных русскими территорий, отличался гораздо большей гибкостью. Образ врага-чудовища, характерный для первых месяцев войны, впоследствии сменился более адекватным образом врага-человека, а ненависть и презрение в позиционный период нередко уступали место сочувствию, особенно по отношению к рядовым солдатам противника, которые, так же как и русские солдаты, вынуждены были нести на своих плечах всю тяжесть войны, смысл которой становился для них всё более туманным.

Автор отмечает также, что дегуманизация врага в Первую мировую войну не достигла такой крайней степени, как позже во Вторую. Если в 1914–1918 гг. оценки немцев на личностно-бытовом уровне были хотя и негативными, но «менее эмоционально окрашенными, более нейтральными, часто даже беззлобными и просто ироничными», то в 1941–1945 гг. несравнимо более жестокое поведение оккупантов на советской территории привело к тому, что образы врага-машины, врага-зверя в сознании советских людей были намного более стойкими (1, с. 105).

Союзники Германии – Австро-Венгрия и Турция – воспринимались как второстепенные противники. На отношении к австро-венгерской армии сказывался её многонациональный состав. Наиболее опасным противником русские считали венгров, по боеспособности они превосходили австрийцев, но уступали германским войскам. Австрийцы как противник на первых порах вызывали известное уважение, однако впоследствии отношение к ним стало более жёстким, поскольку они, так же как и немцы, применяли химическое оружие, имели место и преступления против мирного населения на оккупированных австрийскими войсками территориях. К славянским народам Австро-Венгрии русские относились с

симпатией, как к своим угнетённым сородичам, тем более что в среде этих народов были сильны антиавстрийские настроения. Из военнопленных чехов и словаков в 1917 г., уже при Временном правительстве, был сформирован Чехословацкий корпус, сыгравший годом позже важную роль в развязывании Гражданской войны.

Население Турции в этнокультурном плане отличалось ещё большей неоднородностью, чем в Австро-Венгрии, и отношение к нему русских было более дифференцированным. Симпатию вызывали армяне и ассирийцы, как христианские народы, к тому же подвергавшиеся жестоким репрессиям со стороны турок. Мусульмане-курды, напротив, рассматривались как «дикие азиаты»; этому способствовало и то, что они, несмотря на своё не слишком дружественное отношение к туркам, принимали широкое участие в боевых действиях против русских войск и отличались особой жестокостью, которая провоцировала ответную ненависть и насилие. Турки по сравнению с ними воспринимались скорее с уважением, как «культурная», почти европейская нация, несмотря на то, что правительство Османской империи считалось давним и непримиримым врагом России, а российская сторона не отказывалась от своих планов расчленения Турции и захвата проливов. Со временем на турецком (Кавказском) фронте, так же как и на австро-германском, среди солдат стала накапливаться усталость от войны. В этих условиях турки, подобно немцам и австрийцам, всё чаще воспринимались как такие же люди, против своей воли поставленные в положение «пушечного мяса» ради чуждых им интересов и целей.

Немецкий историк Хубертус Ф. Ян в своей книге (4), анализирует эволюцию русского патриотизма на протяжении Первой мировой войны; истощение патриотического энтузиазма в 1915–1916 гг. он рассматривает как один из факторов, обусловивших крушение монархии в 1917 г.. Предметом исследования являются прежде всего патриотические мотивы в массовой культуре (в книге используется термин «патриотическая культура»), которая, по мнению Х.Ф. Яна, в гораздо большей степени отражает настроения широких слоёв населения, нежели философско-публицистические произведения и официальная пропаганда, поскольку обращается к несопоставимо

более обширной аудитории и к тому же вынуждена из коммерческих соображений достаточно своевременно реагировать на её запросы. В книге не рассматривается художественная литература: в силу своего более чем значительного объёма она требует отдельного исследования.

В народных карикатурах–лубках, переживших в 1914 г. своеобразный, хотя и непродолжительный, ренессанс, немец обычно изображался хорошо вооружённым и экипированным, но его техническому превосходству противопоставлялись русская храбрость и смекалка. Большое количество лубочных картинок было посвящено жестокости врагов. Демонстрировалось (в т. ч. с использованием религиозных и квазирелигиозных образов и символов), что Россия и другие страны Антанты сражаются за «правду», в отличие от Германии и её союзников. Ещё одна особенность этих картинок состояла в том, что, «как и в военных лубках девятнадцатого столетия, кровь и страдания отводились врагу и его жертвам из числа мирных жителей»; как следствие, изображения своих собственных солдат на поле боя и в госпитале оказывались на удивление бескровными (4, с. 21).

Пропагандистские образы государств Четверного союза во многом были продолжением традиционных стереотипов, существовавших ещё до начала войны: «Давние представления о Востоке как о чём-то экзотическом и как об объекте экспансии повлияли на образ глупого несчастного султана, живущего посреди фантастической роскоши. Образы слабой, разваливающейся империи, отражающие соперничество с Австрией, проецировались на фигуру старого и слабого Франца-Иосифа. Доминирующая роль Вильгельма в этом трио и его якобы сатанинский характер отражают восприятие русскими Германии как наиболее опасного врага, против которого должны быть направлены наибольшие усилия. Дегуманизированный образ Вильгельма также включал традиционные русские клише о милитаризме немцев, их заносчивости, педантизме, мелочности и ограниченности» (4, с. 173).

Любопытно, что столь красочные и по-своему целостные образы враждебных наций не сопровождались таким же целостным образом самой России. «Русские, – заключает автор, – имели достаточно ясное

представление о том, против кого они воюют, но не о том, за кого или за что» (4, с. 173).

В работе Е.Ю. Сергеева (ИВИ РАН) (2) исследуется менталитет российской военной элиты накануне Первой мировой войны, и в частности восприятие военными крупнейших государств Запада – потенциальных противников и союзников России (Германия, Австро-Венгрия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, США), а также их позиция по вопросу о путях дальнейшего социально-политического развития страны. Хронологически монография охватывает «время заката „старого порядка“ в Европе и соответственно – автократического режима в России, когда постепенное усиление международной напряжённости сопровождалось обострением всего комплекса социально-политических, национальных и экономических противоречий самодержавной империи» (2, с. 9). Предметом исследования являются системы представлений о мире и месте в нём России, бытовавшие в среде военной элиты; представления российских высокопоставленных военных сравниваются с представлениями их коллег в западных странах. Источниковую базу работы составили архивные документы, опубликованные материалы служебной переписки, публицистика изучаемого периода, статистические материалы, мемуары и дневники очевидцев событий, а также произведения художественной литературы, отражающие «тот особый колорит, который был присущ русской офицерской среде начала XX столетия и предвоенных лет» (2, с. 15).

На вопрос о том, какая из европейских держав является главным потенциальным противником России в будущей войне, российская военная элита (как, впрочем, и политическая) долго не могла с уверенностью ответить. Традиционно наиболее близкой России, в т. ч. в культурном и политическом отношении, считалась Германия, тогда как Великобритания по-прежнему вызывала недоверие. Англофобские настроения дополнительно усилились во время англо-бурской войны 1899–1902 гг. и русско-японской войны 1904–1905 гг., во время которой Лондон проводил по отношению к России политику враждебного нейтралитета. Кадровые военные относились к своим немецким коллегам с большей симпатией, чем к английским –

сказывались сходство русского военного менталитета с немецким и его отличие от британского. Тем не менее в условиях нарастающей напряжённости в отношениях с Германией Россия склонялась к партнёрству с Англией, тем более что дальнейшее соперничество с нею казалось уже бесперспективным. В 1907 г. было заключено англо-русское соглашение, завершившее складывание Антанты, а в 1909–1910 гг. Великобритания перестала упоминаться как вероятный противник и в стратегических планах русского Генерального штаба.

Безусловно враждебным было отношение к Австро-Венгрии. Этому способствовало ожидание её скорого распада, который мог бы позволить России расширить свою зону влияния в Юго-Восточной Европе. Австрийская армия, в отличие от германской, не считалась опасным противником; предполагалось, что в случае войны её ожидает быстрый развал из-за накопившихся межнациональных противоречий. Эти шапкозакидательские настроения стали впоследствии одной из причин того, что в условиях международного кризиса лета 1914 г. правительство Николая II выбрало силовой путь решения конфликта.

Отдельный параграф монографии посвящён представлениям российских военных о национальных характерах народов Запада: немцев, австрийцев, французов, итальянцев, англичан, американцев. Отношение к немцам было двойственным: положительно оценивались их дисциплинированность, пунктуальность и методичность, отрицательно – прежде всего практицизм и национализм. Популярной была теория «двух Германий Гёте и Бисмарка». Такой взгляд перекликался с представлениями, доминирующими в народной культуре: в XIX в. немцы воспринимались как чужие, но не как враги. Волна германофобии стала нарастать лишь после заключения англо-русского союза. В 1908–1910 гг. её объектом были прежде всего австрийцы, которые традиционно не отделялись от германских немцев, но в 1912–1914 гг. главной мишенью стали подданные кайзера Вильгельма II.

Отношение к англичанам, напротив, довольно долго оставалось враждебным. Бурное экономическое развитие капиталистической Британии, которая к тому же нечасто посещалась русскими и была им почти незнакома, в отличие от стран континентальной Европы,

породило стереотип о якобы присущем её жителям практицизме, эгоизме и лицемерии. Сильное раздражение вызывал английский национализм (джингоизм). Демократические права и свободы, действовавшие в Соединённом королевстве, также были чужды большинству представителей российской политической и военной элиты. Положительный образ Великобритании начал формироваться лишь в последние предвоенные годы, причём процесс этот, по мнению автора, так и остался незаконченным и «мог привести только к временным, конъюнктурным результатам, но никак не послужить прочной основой для долговременного союза, основанного на близости или совпадении глубинных основ образно-представленческой картины мира, характерной для сознания правящих кругов обеих стран» (2, с. 210).

Образ внешнего врага дополнялся образом врага внутреннего, в лице прежде всего поляков, финнов и евреев. Все три народа воспринимались резко негативно, через призму многочисленных стереотипов, рассматривались как враждебные России и принципиально неблагонадёжные. Предполагалось, что нейтрализовать исходящую от них угрозу можно лишь репрессивными мерами, включая политику русификации в Финляндии и Польше. Автор приходит к неутешительному выводу: «Изучение этноконфессионального аспекта представлений военной элиты России о Западе показывает, что кризис и последовавший национальный распад империи были по сути предопределены неспособностью „верхов“ осознать острейшие этноконфессиональные проблемы на адекватном уровне, чтобы, преодолев паралич политической воли, приступить к их решению с учётом основных тенденций эволюции национальных отношений в государствах Европы и США» (2, с. 211).

Ситуацию, сложившуюся по другую сторону фронта, анализирует Петер Ян (Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст») в статье, посвящённой представлениям немцев о России в годы Первой мировой войны (5). Вооружённое столкновение между великими державами в эпоху индустриальных войн и массовых армий потребовало не только беспрецедентной по своим масштабам мобилизации людских, а затем и экономических ресурсов

противоборствующих стран на нужды фронта, но и соответствующей идеологической и психологической мобилизации, составной частью которой как раз и является образ врага. Между тем образ России в немецкой печати оставался в основном почти неизменным с первой половины XIX в., менялись лишь отдельные детали и акценты. В 1914 г. Россия и Германия впервые после столетнего перерыва оказались в состоянии войны друг с другом, а сотни тысяч немецких военнообязанных, направленных на Восточный фронт, получили возможность лично побывать в нашей стране и сравнить свой непосредственный опыт с теми сведениями, полученными из газет или во время учёбы, которыми они располагали ранее.

В статье анализируются главным образом сообщения немецкой печати о событиях в Восточной Пруссии в августе-сентябре 1914 г. Неожиданное вторжение российских войск в пределы Германии и быстрая победа над ними стали первым и одним из важнейших оснований, на которых формировался образ русского врага в пропаганде и массовом сознании (в дальнейшем существенную роль сыграл также опыт солдат и офицеров Рейхсвера, воевавших на российской территории, проходивших службу в оккупационных войсках и побывавших в русском плену). Эти же события использовались и для того, чтобы подчеркнуть мужество и героизм немцев в противовес «варварству» русских, а уничтожение 2-й российской армии во время Восточно-Прусской операции получило в германской литературе наименование битвы при Танненберге, что давало возможность представить его как своеобразный реванш за разгром войск Тевтонского ордена в Грюнвальдском сражении 1410 г. (Танненбергская битва в немецкой традиции).

Негативные образы каждой из стран Антанты в германской пропаганде имели свои особенности, основанные на ранее существовавших предубеждениях по отношению к ним («декадентская» Франция, Англия – оплот капитализма, страна торгашей и т. д.). В образе России центральное место занимало «варварство» русских, проявлениями которого, согласно германским источникам, были пьянство, грязь, жестокость солдат по отношению к мирным жителям, мародёрство, грабежи, изнасилования и т. д.

«Варварство», в свою очередь, тесно увязывалось с образом царской деспотии; в совокупности они рассматривались как проявления «азиатской» природы России. Подобная демонизация противника не только укрепляла волю к продолжению борьбы среди военнослужащих и гражданского населения, но и была удобным оправданием для нарушения международного гуманитарного права самими немцами: жестокость по отношению к русским преподносилась как месть.

Автор отмечает, что в действительности военные преступления в истории Первой мировой были скорее исключением: «Гражданское правосознание, которое предусматривало определённые нормы и для ведения войны, оставалось в силе, несмотря на столь эффектные образы врага, и всё ещё ограничивало такого рода фантазии о возмездии» (5, с. 240). Однако стереотипы об отсталости, варварстве и жестокости русских, распространившиеся в годы войны, продолжали существовать и после её окончания и впоследствии были использованы нацистами (наряду с идеей борьбы против «еврейского большевизма») как повод для официального отказа от соблюдения правил и обычаев войны в борьбе против Советского Союза. Военная пропаганда 1914–1918 гг., таким образом, стала одной из предпосылок к преступлениям немецких военнослужащих в годы Второй мировой войны.

В качестве примера пропагандистской борьбы вокруг одной определённой темы можно привести историю разрушения города Калиша (Польша, Великопольское воеводство, в составе Российской империи был центром Калишской губернии) германскими войсками в августе 1914 г., которую рассматривает в своей статье (3) Лора Энгельстайн (Йельский университет, США). Калишские события были одним из первых случаев нарушения международного гуманитарного права во время Первой мировой войны, их история широко использовалась российской пропагандой не только внутри страны, но и за её пределами, во-первых, для борьбы с уже упоминавшимся стереотипом о «варварстве» русских, который в то время активно эксплуатировался Центральными державами, и во-вторых – для демонизации противника в глазах населения России, т. к. в предвоенные годы немцы с их успехами в науке и культуре вызывали

скорее уважение. Поскольку вскоре последовала оккупация Германией Бельгии, также сопровождавшаяся разрушением городов и репрессиями против мирного населения, Калиш стали называть «нашей Бельгией». Истории некоторых жителей города использовались и в дидактических целях, как примеры героизма и стойкости перед лицом тяжёлых испытаний. Такие неудобные для самой России детали, как бегство царских чиновников, бросивших Калиш на произвол судьбы, и проявления жестокости и антисемитизма со стороны русской армии, неоднократно имевшие место на других участках фронта, напротив, старательно замалчивались. Автор отмечает подчёркнуто сочувственное отношение царской пропаганды к польскому населению Калиша, отсутствие в публикуемых материалах каких-либо попыток обвинить поляков в измене и сговоре с немцами. Стремясь удержать лояльность своих польских подданных, правительство Николая II воздержалось в данном случае от разжигания шовинистских настроений.

Немецкая пропаганда, со своей стороны, утверждала, что войска Силезского ландверного корпуса, захватившие Калиш, сами вынуждены были отражать атаки местных жителей. Позиция польских авторов была в целом аналогична той, которая представлена в русскоязычных источниках. Хотя расследование 1919 г., предпринятое польскими властями, так же как и предыдущее, проводившееся российской комиссией в 1915 г., не позволило с уверенностью ответить на вопрос о виновниках трагедии, поляки настаивали на том, что немцы несут ответственность по крайней мере за непропорциональное применение силы. Всячески подчёркивалась лояльность местных жителей по отношению к германским войскам.

М.М. Минц

«ВНУТРЕННИЙ ВРАГ» В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Сводный реферат)

1. ЛОР Э. РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: КАМПАНИЯ ПРОТИВ «ВРАЖЕСКИХ ПОДДАННЫХ» В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ / Пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 304 с.

2. ФУЛЛЕР У. ВНУТРЕННИЙ ВРАГ: ШПИОНОМАНИЯ И ЗАКАТ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ / Пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 376 с.

Книга американского историка Эрика Лора (1)[11] посвящена притеснительной и карательной политике царской власти во время войны в отношении подданных враждебных государств и тех российских подданных, которые были сочтены неблагонадежными в силу своего этнического происхождения. Монография состоит из введения («От империи к национализирующемуся государству»), пяти глав («Националистические вызовы, имперские дилеммы»; «Московские беспорядки и другие народные волнения»; «Национализм в торговле и промышленности»; «“Национализация” землевладения»; «Великое выселение народов») и заключения.

Автор считает, что ключевым аспектом первой для России

[11] Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – XI, 237 p.

тотально-мобилизационной войны явилась масштабная кампания, направленная против определенных меньшинств, вдруг ставших для правящего режима и общества опасными внутренними врагами. Она была изначально нацелена на «неприятельских подданных», определяемых международным правом как граждане вражеских государств в военное время. Эта сравнительно узкая, однако экономически и социально значимая для России категория подверглась в период войны высылкам, интернированию и конфискациям собственности. Россия не была единственной страной, принимавшей меры против подданных враждебных государств. Практически все государства интернировали вражеских подданных на своей территории и вводили для них всесторонние, хотя и временные ограничения на пользование имуществом и свободу экономической деятельности. Проблема вражеских подданных стала важнейшей частью отхода от интернационалистических тенденций предвоенной эпохи. Это особенно верно для континентальных империй.

В России официальные санкции и общественная кампания затрагивали не только иностранных граждан, но и натурализовавшихся иммигрантов и российских подданных. Результатом общественно-государственной кампании стали «вынужденное переселение приблизительно 1 млн. гражданских лиц, национализация весьма значительной части имперской экономики, а также переход обширных земельных владений и городской недвижимости из рук вражеских подданных к другим влиятельным группам населения» (1, с. 9). Автор подчеркивает, что его работа «в большей степени исследует административные процедуры, чем конкретные национальные меньшинства, и стремится доказать, что сам процесс практического применения всевозможных ограничений и репрессий фактически укреплял национальные различия, делая их все значительнее» (1, с. 13). Он концентрирует свое внимание «на беспрецедентной мобилизации экономики, а также этнических и политических общностях, составляющих воюющую нацию» (1, с. 19).

Э. Лор пишет, что если в начале войны правительство стремилось «к единению с народом» и одобряло патриотические манифестации, то далее стало очевидным, что оно «не желало

направлять или поощрять подобные акции, если они превращались в беспорядки и погромы» (1, с. 27). Но позиция военных была иной. Уже в сентябре ряд инцидентов показал, что командование всех уровней поощряет участие солдат в погромах, грабежах и насилии над гражданским населением в прифронтовой полосе. Провоцирующая роль армии распространялась на всю империю (насильственные выселения, антишпионские кампании, секвестрование и конфискация имущества). Армия играла такую роль во многом благодаря закону, принятому в первый день войны, который предоставлял военным властям широкие полномочия во всех районах, находящихся на военном положении. Вдохновителем многих кампаний против шпионов и вражеских подданных был начальник штаба Ставки Н.Н. Янушкевич. Шпиономания быстро охватила все общество и вызвала «девятый вал» статей в периодике. Слухи и рассказы об измене стали «основной чертой российского политического пейзажа» (1, с. 31). Постоянно муссировалась тема о «немецком засилье», о «внутренних врагах». Автор рассматривает националистические программы правых и либералов, националистические вызовы экономике. События в мае 1915 г. в Москве показали, насколько изменчивой и дестабилизирующей может стать «патриотическая» кампания против вражеских подданных, наглядно продемонстрировав «опасность сползания имперского государства в хаос неудержимого межнационального и классового насилия» (1, с. 65). Некоторые чиновники правильно понимали проблему и убеждали остановить кампанию против подданных враждебных государств, но большинство протестующих к осени 1915 г. были смещены со значимых постов в правительстве и заменены чиновниками, поддерживающими всеобъемлющую репрессивно-ограничительную политику.

Старый режим сам подрывал основы, защищавшие частную собственность и правопорядок, способствовал обострению социальной напряженности на уровне классовых и национальных отношений, «хотя стремился лишь к тому, чтобы в военное время создать российскую национальную экономику» (1, с. 67). Секвестр и конфискация стали инструментами, широко применяемыми для реорганизации национальной экономики. Со стороны царского режима

это была лишь часть общего радикального поворота в сторону национализации экономики. Министр внутренних дел А.Н. Хвостов являлся одним из главных сторонников борьбы с «немецким засильем» и добивался распространения этой борьбы на сферу крупной торговли и промышленности.

«Национализация землевладения» – конфискация земельной собственности и передача ее представителям привилегированных национальностей – «имели ряд серьезных непредвиденных последствий для экономики, стабильности и легитимности частной собственности в деревне» (1, с. 101). К лету 1916 г. в большинстве губерний земельные имущества вражеских подданных были конфискованы. Но они владели сравнительно небольшой долей земли, намеченной для экспроприации (2 906 участков общей площадью 296 356 дес.). Экспроприация земель русских враждебных подданных в крупных масштабах практически не начиналась до конца 1916 г. В первые два месяца 1917 г. конфискации проводились с нарастающей скоростью. Царский режим объявил о предстоящей конфискации более 6 млн. десятин у полумиллиона своих подданных (1, с. 142).

По мнению автора, из всех практик, составляющих идеологию «национализирующегося государства», насильственное переселение – едва ли не самая драматичная. Примерно половина из 600 тыс. вражеских подданных, зарегистрированных в качестве постоянно проживавших на территории Российской империи, в 1914 г. были высланы, затем интернированы в лагеря или получили предписание поселиться в особо оговоренных местах под надзором полиции на время войны (1, с. 151). Первые мероприятия по выселению и интернированию вражеских подданных стали прелюдией к массовой депортации, и в течение следующих месяцев началось применение аналогичной меры к представителям меньшинств, давно находившихся в российском подданстве, но при этом многие члены привилегированных меньшинств получили возможность избежать выселения. Репрессивные меры наносили огромный ущерб местной экономике, вызывали перебои в работе железнодорожного транспорта, что в свою очередь порождало хаос и дороговизну во внутренних губерниях, вынужденных справляться с наплывом выселенцев. К

концу 1915 г. выселение пошло на убыль, однако окончательно оно не прекратилось; это было скорее не изменение тактики, а результат стабилизации положения на фронте. Серьезная напряженность отношений возникала между высланными и местными жителями, которые обвиняли выселенцев в том, что они способствуют росту цен и создают конкуренцию местным предпринимателям. Последствием насильственного переселения стало и проявление «нового, более сильного чувства национального единения среди пострадавших категорий населения» (1, с. 183).

Автор считает, что выбор, сделанный старым режимом в пользу масштабной шовинистической кампании против вражеских подданных, может отчасти рассматриваться как попытка получить массовую народную поддержку с целью превратить имперское государство в более «национальное» и мобилизовать все силы для продолжения войны до полной победы. Эта попытка провалилась по ряду причин. Кампания не могла удовлетворить многих ее активных сторонников из-за довольно мягкого отношения к прибалтийским немцам и ряда льгот, имевшихся у представителей придворной и бюрократической элиты, многие из которых носили немецкие и другие иностранные фамилии. «Не только более 15% офицерского корпуса носили немецкие фамилии, но все ведущие отрасли управления, бюрократическая и экономическая элита были заполнены лицами нерусского, в частности немецкого происхождения. Например, около 30% членов Государственного совета и более половины чинов императорского двора были носителями изначально немецких фамилий» (1, с. 196). Хотя кампания против вражеских подданных привела к удалению из «образованного общества» некоторых из наиболее заметных «немцев», большинство из них сохранило свои посты, постепенно становясь центральным объектом все нарастающего всеобщего недовольства. К началу 1917 г. жандармские отчеты отмечали широкое распространение среди всех слоев населения слухов о том, что измена пышным цветом расцвела среди имперской элиты.

Однако, пишет автор, «общественное брожение нельзя объяснить просто ксенофобией или шпиономанией. Многие из

повернувшихся против старого режима представителей самых различных политических партий и объединений делали это во имя патриотизма» (1, с. 197). Правые сетовали на нежелание правительства более решительно бороться с вражескими подданными внутри страны, поскольку считали бюрократию неспособной принять истинно русские национальные идеи. Шовинистическая кампания, воспринимавшаяся в начале войны как путь единения правительства с народом в совместном излиянии патриотического негодования против внутренних и внешних врагов, стала яблоком раздора между правительством и его самопровозглашенными сторонниками - крайними патриотами.

Данная ситуация также способствовала переходу либералов и более умеренных политиков от патриотической поддержки правительства к патриотической оппозиции. Широкая коалиция фракций и отдельных депутатов Думы в середине 1915 г. сформировала Прогрессивный блок, который стал центром единой оппозиции, согласившейся, что старый режим должен быть уничтожен с целью создания действительно единого сообщества граждан и патриотического подъема для победы над внешним врагом.

Опыт участия в Первой мировой войне означал резкий перелом в истории народов, находившихся в составе Российской империи. Если в предвоенные десятилетия даже самые агрессивные культурно-русификационные практики прежде всего стремились обратить национальные меньшинства в православную веру и ассимилировать их с русской культурой, то война принесла с собой качественные изменения. «Целью ограничительных и репрессивных мер было не ассимилировать отдельных лиц, но национализировать столь крупные "абстракции" как экономика, земля или население» (1, с. 200).

В значительной степени все это было частью общего расширения военных функций государства в его стремлении контролировать и напрямую управлять населением и экономикой, т.е. процесса, отмеченного в историографии войны для всех воюющих стран и широко признаваемого важнейшим прецедентом для всесторонних притязаний будущего Советского государства. Кампания против враждебных меньшинств способствовала укреплению

многонационального государства посредством расширения бюрократического контроля над населением, ужесточения полицейского и государственного надзора за иностранцами и иммигрантами, создания штата инспекторов, управляющих и ликвидаторов для наблюдения и контроля за акционерными предприятиями и сделками, а также привела к масштабной передаче частных фирм и имуществ государственным учреждениям.

Отчасти правительство и армия применяли столь жесткие и чрезвычайные меры, как массовая высылка и конфискация, потому, что государственная власть была довольно уязвимой и ограниченной в своих возможностях. Это особенно верно для многонациональных западных пограничных областей империи. Как показали московские погромы мая 1915 г., способность властей поддерживать общественный порядок была сомнительной даже во второй столице империи. Правители России и лидеры шовинистической кампании против вражеских подданных часто исходили в своих действиях из осознания собственной слабости.

Это базовое подсознательное ощущение слабости, полагает Э. Лор, – ключ к пониманию роли российского национализма во время войны. Большинство национальных движений во многом опирается на факт или видимость того, что государство сохраняет социально-экономический порядок, систематически ущемляющий коренную национальную группу. Кампания против враждебных меньшинств с ее освободительным экономико-националистическим содержанием представляла собой, возможно, «самую динамичную и внятную демонстрацию активности российского национализма в позднеимперский период» (1, с. 201).

В этом отношении, отмечает автор, Османская империя представляется самым близким к российскому варианту государством для сравнительного анализа. В обоих случаях имперский режим (время от времени неохотно реагировавший на общественное давление) избирал радикальную экономическую националистическую мобилизацию против иностранных и успевших ассимилироваться коммерческих диаспор. В обоих случаях столь активно проводимая мобилизация подрывала общественный порядок, обостряла

межнациональные конфликты и способствовала падению старых режимов.

В монографии американского историка Уильяма Фуллера[12], основанной прежде всего на материалах российских архивов, исследуется дело полковника С.Н. Мясоедова и генерала В.А. Сухомлинова, которое «глубокими корнями связано с политической и военной историей России». С политической точки зрения «наиболее явный смысл дела Мясоедова/Сухомлинова состоит в том, что оно, в ряду многих других событий, подготовило почву для Февральской революции, содействуя девальвации авторитета и престижа императорской власти». Оно значимо и в «контексте социальной и культурной истории, поскольку позволяет увидеть самый процесс разложения и распада русского общества». Автор пишет, что это дело, возможно, «нанесло монархии еще более сокрушительный удар, чем темные и гнусные слухи о Распутине» (2, с. 15, 16). Книга состоит из введения, восьми глав и заключения.

В начале работы У. Фуллер отмечает, что следствием казни Мясоедова 19 марта 1915 г. за шпионаж в пользу Германии «стала захлестнувшая Российскую империю шпиономания. Повальные аресты, сотни обысканных квартир, тысячи страниц конфискованных документов» (2, с. 10). Поздней весной 1915 г. германские и австро-венгерские войска прорвали российскую оборону между Горлице и Тарнувом, вынудив русскую армию отступить в глубь страны более чем на 300 километров. Потери убитыми составили 150 тыс., 700 тыс. ранеными, более 300 тысяч попали в плен. Призывы разобраться с «предателями», на которых возлагалась вина за Великое отступление, породили вторую волну арестов по делу Мясоедова в конце 1915 – начале 1916 г. 20 апреля 1916 г. был арестован генерал Сухомлинов (с 1909 до весны 1915 г. – военный министр). Тогда многие считали, что военные неудачи России были вызваны изменническими связями Мясоедова с противником и предательской деятельностью Сухомлинова.

[12] Fuller W.C., jr. The foe within: Fantasies of treason and the end of imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – 286 p.

Автор показывает перипетии в карьере и в личной жизни каждого из них, отвечает на вопросы о том, как и почему оказалось возможным инкриминировать офицерам, пусть морально ущербным и нечистым на руку, но не склонявшимся никогда к государственной измене и небесталанным, наитягчайшее в военное время преступление и убедить в их виновности огромное число людей.

Многие были уверены в том, что почти все отступления и катастрофы России в этой войне могут быть отнесены на счет измены. Измена была главным и исчерпывающим объяснением любых явлений. Со времени мазурских боев в начале 1915 г. вести с фронта приходили почти исключительно дурные. В стране говорили о катастрофическом кризисе вооружения и боеприпасов, о позорных отступлениях, о поражениях и потерях. Многим казалось самоочевидным, что тут не обошлось без предательства. По их логике, предатели столь подробно информировали противника, что все военные приготовления и планы России лежали перед ним как на ладони, противник был заранее осведомлен обо всех замыслах командования, о концентрации и передвижении войск. Нашлись газеты вроде московского «Русского слова», приписавшие не менее половины германских побед деятельности изменников и шпионов. Считалось, что изменники действуют и на внутреннем фронте, занимаясь саботажем в военной промышленности, срывая поставки топлива, продовольствия и вооружения. Они даже вынашивают тайные планы сдачи врагу всей страны. Массовая культура подпитывала эти фантазии. Вездесущий иностранный шпион стал центральной фигурой многих русских фильмов, пьес, романов и даже постановок кабаре 1914-1917 гг.

Инстинктивная вера в то, что в конечном счете именно измена повинна в военных неудачах России, давала ее сторонникам из патриотического лагеря глубокое эмоциональное и психологическое удовлетворение – простой ключ к пониманию переживаемой Россией глубочайшей травмы.

Не все, разделявшие эту позицию, одинаково рисовали себе образ главного российского изменника. Патриоты правого националистического толка самую опасную измену видели в среде

нелояльных национальных меньшинств, то есть этнических и религиозных групп населения. К этой категории относились мусульмане, армяне, грузины, украинцы. Главными ее представителями считались немцы и евреи. Правые националисты верили, что польские, украинские и белорусские евреи с первого дня войны отслеживают передвижения русской армии и продают сведения врагу. В центре России богатые евреи-банкиры и промышленники, разбогатевшие на военных спекуляциях, специально взвинчивают цены на продовольствие и другие товары первой необходимости.

Принималось за доказанное, что немецкие подданные Российской империи, сколь бы долго они или их предки ни жили в стране и что бы они сами ни говорили по этому поводу, на самом деле питают преданность исключительно Берлину, а не Петербургу. Им удалось подмять под себя большую часть российской экономики, что оказывает пагубное воздействие на развитие страны.

Для патриотов из левого националистического лагеря, напротив, измена не была отчетливо маркирована этнически. Изменниками и шпионами могли быть немцы, евреи, поляки, литовцы, узбеки, русские. Всё большее распространение получало мнение, что изменническим институтом может быть сама монархия. Ведь главная обязанность всякого политического режима – защищать своих подданных от врагов, как внешних, так и внутренних. Российской же монархии не удалось ни то, ни другое. Ее неспособность вести войну с Центральными державами не в последнюю очередь связана с отказом от политического и экономического сотрудничества с прогрессивной частью общества. Самодержавие стоит на пути уничтожения врага внутреннего. Публике постоянно напоминали о том, какие опасные предатели таятся под сенью трона: например, Сухомлинов. Николай II лично поставил этого изменника во главе Военного министерства, именно император парализовал юридическое расследование злодеяний Сухомлинова и спас его от заключения в Петропавловской крепости. Следовательно, монархизм есть прямая противоположность патриотизма. Даже правые патриоты, в теории поддерживавшие монархический принцип, считали, что эта конкретная монархия и ее двор представляют угрозу национальной безопасности.

Призыв «бороться с внутренним врагом», кто бы его не брал на вооружение, мог служить эффективной политической тактикой. С началом мировой войны Россия вступила в эру массовой политики. Армия, правительство и фракции Государственной думы проявляли острый интерес к мобилизации и мотивации населения. Одной из техник было превознесение доблести и жертвенности военных героев (Козьмы Крючкова и др.). Оборотной стороной поклонения героям было возбуждение ненависти – она тоже могла стать мощным инструментом мобилизации народа. Огульные оговоры к тому же имели и неявные политические цели. Обвинение евреев западных областей России в военных поражениях российской армии ограждало военное руководство от критики. Поношение немцев и требование экспроприации их земель и бизнеса было в интересах русского национализма.

Анализируя дело Мясоедова/Сухомлинова, автор отмечает, что одна из самых поразительных его черт – то, как идеально Мясоедов и Сухомлинов соответствовали образу изменника, живущему в сознании как правых, так и левых. Обширные и тесные связи Мясоедова и Сухомлинова с немцами и евреями воспринимались как доказательство их порочности. Для патриотов и левых националистов важнейшее значение имело то обстоятельство. что Мясоедов и Сухомлинов были русскими. И из их предательского вероломства, в основе которого – моральная испорченность, следует извлечь урок: измена живет не только среди национальных меньшинств. Если везде есть измена, значит, любой может быть изменником.

Но и Мясоедов, и Сухомлинов категорически отвергали обвинения в предательстве. Мясоедов утверждал, что он никогда не был германофилом: «Я любил всегда германскую культуру, германский порядок, но я всегда оставался русским патриотом» (цит. по: 2, с. 166). Мясоедова, по совету генерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта М.Д.Бонч-Бруевича, приказал судить военно-полевым судом вел. кн. Николай Николаевич. Но, по словам У.Фуллера, что касается «роковых обвинений в шпионаже, трибуналу не было представлено доказательств, определенно инкриминирующих это деяние Мясоедову до или после 1914 г.». И даже этот «безвольный и податливый суд не

должен был бы выносить обвинительный приговор при наличии положительных доказательств невиновности Мясоедова, а свидетельств тому за время службы полковника в штабе 10-й армии накопилось достаточно» (2, с. 167).

Однако обвинение Мясоедова было «на руку Ставке, поскольку, фокусируя общественное внимание на теме предательства, оно отвлекало его от пороков верховного командования» (2, с. 194). На кону стояла репутация и карьера не одного вел. кн. Николая Николаевича, но и ряда высокопоставленных военных, так или иначе связанных с Мазурским крахом русской армии (В.Н. Рузский, А.А. Гулевич, М.Д. Бонч-Бруевич, Н.С. Батюшин). Все они принимали непосредственное участие в деле Мясоедова. Клевета на него «была им лично выгодна» (2, с. 194).

Под руководством Бонч-Бруевича и Батюшина контрразведка в России разрасталась как раковая опухоль, - никому не подчиняющаяся, попирающая власть гражданской администрации и оправдывающая свои самые безобразные действия аргументом «национальной безопасности». Военная контрразведка вмешивалась в вопросы, далекие от сферы ее ответственности, такие как борьба со спекуляцией и ценообразование, политическая пропаганда и трудовые конфликты. Шпиономания Бонч-Бруевича и многих других россиян подпитывалась социальными, психологическими и идеологическими обстоятельствами жизни империи военного времени.

Дело Мясоедова и прочие связанные с ним расследования и разбирательства отравили политический дискурс, подточили престиж дома Романовых, способствовали краху того хрупкого единения русских, которое возникло на почве войны, и одновременно содействовали причудливой «переоценке ценностей», в результате которой монархия стала синонимом предательства. В этом смысле «дело Мясоедова способствовало интересам Германии больше, чем многие известные триумфы Германии на Восточном фронте» (2, с. 205).

Но и Февральская революция не покончила со шпиономанией. В послефевральские месяцы контрразведывательная служба все более подпадала под привычку приписывать любое неприятное

происшествие вражеским происка́м. Не на пользу Временному правительству было и то, что газеты больших городов пестрели пасквилями и россказнями о шпионаже. В прессе появилось столько сенсационного материала, что публике не оставалось ничего иного, как прийти к выводу, что при Временном правительстве шпионаж и измена распустились еще более пышным цветом, чем при царизме. «Это представление подтачивало последние законные основания права Временного правительства на управление страной» (2, с. 285).

В.М. Шевырин

КОЛОНИЦКИЙ Б.И.

«ТРАГИЧЕСКАЯ ЭРОТИКА»:
ОБРАЗЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
– М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 664 с.
(Реферат)

Монография д.и.н. Б.И. Колоницкого (С.-Петербургский институт истории РАН, Европейский университет в С.-Петербурге), состоящая из введения, девяти глав и заключения, посвящена восприятию образов членов императорской семьи различными слоями российского общества в 1914-1917 гг., а также деятельности властных структур, направленной на повышение популярности Романовых среди населения. Источниками, на основе которых написана книга, стали петиции, дневники и письма современников, материалы уголовных дел против людей, обвиненных в заочном оскорблении членов царской семьи, материалы легальных и подпольных изданий, листовок и памфлетов времён Первой мировой войны, а также многочисленные воспоминания.

Как отмечает Б.И. Колоницкий, «большинство людей, любивших или ненавидевших, презиравших или жалевших царя и других членов императорской семьи, никогда лично их не встречали. Представление об этих “августейших особах” складывалось у них годами, под воздействием газетных сообщений и церковных проповедей, просмотра кинохроники, разглядывания настенных календарей и

лубков, парадных портретов, висевших в присутственных местах и школьных классах, изображений царей на почтовых марках. И, не в последнюю очередь, это представление складывалось под влиянием разнообразных анекдотов и слухов. О членах императорской семьи судили по образам, распространявшимся этими различными каналами, а воспринимались, "переводились", редактировались эти образы в зависимости от современного контекста, а также под влиянием предшествующей "личной" истории отношений современников с образами данных персонажей» (с. 14). Так называемая «фактическая биография» Романовых порой не имела никакого отношения к истории жизни их многообразных и противоречащих друг другу образов, но порой именно эти образы оказывали большее воздействие на политический процесс, чем реальные действия соответствующего персонажа.

Император и члены его семьи должны были своими действиями пробуждать народную любовь. Этому служили тщательно продуманные ритуалы царских поездок и церемоний награждения, официальные речи и неформальные встречи, широко распространявшиеся портреты, патриотические стихи и т.д. В годы Первой мировой войны пробуждение народной любви стало важнейшим элементом монархически-патриотической мобилизации российского общества. Любовь, по словам автора монографии, вообще имеет особое значение в языке монархии: «если идеальный государь должен быть строгим и справедливым отцом для своих подданных, "отцом отечества", или "матерью отечества", то его "дети" – чаще всего речь идет о "сыновьях" – отвечают ему любовью, этот термин использовался издавна в царских указах и манифестах. Отношения между царем и его подданными описывались как отношения эмоциональные, а не правовые. Но не следует полагать, что метафора большой семьи, спаянной любовью к отцу, описывает все эмоциональные проявления монархизма, диктуемые культурой подданства. Царя нередко любят не только как отца. Слова "возлюбленный", "объятия" и даже "экстаз" употребляются… и в самоописании монархии, и в политических текстах образцовых русских монархистов» (с. 9).

Язык монархии издавна был эмоционально насыщен, нормативные требования монархической риторики предполагают использование языка любви и счастья. Сакрализация, вообще неизменно присутствующая в политике, в условиях монархии приобретает огромную нагрузку, особенно в тех случаях, когда глава государства являлся и главой церкви. Многомерный и противоречивый процесс секуляризации общественного сознания, разворачивающийся в Новое время, не мог не затронуть монархическое сознание. Однако язык политической любви продолжал использоваться современниками Николая II и в официальных документах, и в частной корреспонденции.

Название книге дало высказывание выдающегося религиозного философа С. Булгакова, который не раз обращался в воспоминаниях к непростой истории своей личной любви к последнему русскому императору. Это чувство он описывал как «трагическую эротику». «Разумеется, “царизм” такого особого человека, как Булгаков, был индивидуальным, по-своему уникальным, но и официальный монархизм, и монархизм многих правых радикалов был и религиозно-политическим, и эмоционально окрашенным. От верных подданных русского царя ждали и требовали не только корректного уважения носителя верховной власти, но и искренней любви к своему государю. Однако объект политической любви Булгакова все же не соответствовал, по его мнению, образу идеального государя: последний русский император, к его сожалению, действовал и выступал «не как царь», но как полицейский самодержец, «фиговый лист для бюрократии»». Война первоначально сняла это болезненное противоречие между идеалом и несовершенной действительностью: чувство любви к царю у Булгакова теперь уже ничем не омрачалось. «Однако затем он вновь ощутил трагичность своего положения, от всей души желая любить своего императора, он в то же время не мог любить его искренне» (с. 11).

Одной из центральных проблем реферируемой монографии является роль слухов в политической жизни России в годы Первой мировой войны. Возрастанию этой роли способствовало, в частности, усиление цензурного ограничения печати. Последствия ужесточения

цензуры были очевидны многим современникам. Петроградская газета «Новое время» открыто сообщала своим читателям: «Утеснение и бесправность печати поставила сплетню вне конкуренции и сделала ее монополисткой общественного осведомления. Сплетне верят больше, чем газетам. Печатно говорить о многом множестве предметов нельзя, но устно врать, что хочешь и чего не хочешь, можно сколько угодно…» (с. 22). Признанием этого стал постоянный заголовок в некоторых солидных русских газетах: «Последние телеграммы, сообщения и слухи с театра военных действий». Информационное значение слухов тем самым чуть ли не открыто приравнивалось издателями и редакторами к официальным сообщениям. Слухи рождались не только в окопах, но и в тылу; жизнь больших городов также по-своему архаизировалась, горожане разного положения и разного образования, желавшие получить последние сведения, жили молвой, питались слухами. И даже для представителей высших слоёв слухи зачастую тоже заменяли собой информацию.

Б.И. Колоницкий полагает, что сами пропагандистские материалы и официальные сообщения, «обработанные», сокращенные и измененные военной цензурой, необычайно быстро распространявшиеся с помощью телеграфа и телефона, порой провоцировали появление новых волн невероятных слухов. Особые же цензурные условия, существовавшие в России, оказывались необычайно благоприятными для подобного распространения слухов в эпоху войны – «у русского читателя издавна существовали навыки чтения “между строк”, а авторы и редакторы хорошо владели приемами проталкивания зашифрованной информации через цензурное сито. Читательская аудитория, политическое воображение которой было весьма развито, по-своему “заполняла” белые пятна, зиявшие на месте статей, изъятых цензурой, она по-своему “прочитывала” официальные сводки, а авторы подцензурных материалов на это и рассчитывали» (с. 24).

К тому же в условиях войны вновь и вновь появлялись и охотно передавались старинные российские слухи, постоянно воскресавшие в новых кризисных ситуациях. Так, неудивительно, что в деревнях опять начинали говорить о наделении крестьян землей, на этот раз

долгожданная аграрная реформа связывалась с грядущим окончанием военных действий. В то же время «среди крестьян ряда губерний ходили слухи о том, что война затеяна для того, чтобы восстановить в России крепостное право, об этом сообщалось в письмах, перехваченных цензурой» (с. 31).

Б.И Колоницкий отмечает, что к началу войны у царя уже существовала определенная репутация, разные люди имели разные представления об истории его правления. Всевозможные как позитивные, так и негативные образцы восприятия Николая II, сложившиеся за годы его царствования, оказывали немалое воздействие на восприятие государственной политики и императорской репрезентации во время Мировой войны. Нередко люди различных взглядов, включая и изрядное число монархистов, именовали Николая II «невзрачным» царем, появилась кличка «большой господин маленького роста». Эта негативная характеристика визуального восприятия императора, важнейшего символа монархии, становилась индикатором его политической уязвимости, она распространялась на характеристику его царствования. В свою очередь, разочарование в политике Николая II «определяло стиль портретных зарисовок последнего императора, данных его современниками. Ничем не запоминающийся, заурядный, обычный “офицерик”, простой “полковник”, лишенный державного величия, никак не соответствовал традиционным монархическим представлениям о могучем государе, великом царе, отце своего народа, истинном самодержце» (с. 196–197).

Подобное восприятие «заурядной» внешности царя и манеры его поведения подтверждало весьма распространенное мнение о слабоволии последнего императора. «Даже люди монархических взглядов писали впоследствии о “хронической болезни воли” и “ужасающем безволии” последнего царя…, который-де “не обладал самостоятельным умом”» (с. 197).

Немало было потрачено усилий, чтобы опровергнуть это мнение, доказать, что последний царь в действительности обладал «сильной волей». Однако, по словам Б.И. Колоницкого, вне зависимости от того, обладал ли Николай II волей сильной или слабой, большое влияние на

развитие ситуации оказывало и то, что очень много простых людей верило в его «слабость» и «слабоволие», и то, что это мнение разделяли некоторые видные участники политического процесса. Такое весьма распространенное представление влияло на оценку ситуации и даже на принятие важных политических решений. В условиях России многие общественно-политические проблемы огромной страны «объяснялись» психологическими особенностями личности императора.

«Возможно, сдержанный Николай II действительно обладал скрытой сильной волей, которая не всегда была видна даже близким людям. Однако ряд членов императорской семьи, включая его мать и жену, считали иначе, они обе подозревали, что царь склонен поддаваться чужим влияниям. И множество участников политического процесса разделяли это мнение, полагая, что его недостаточная воля позволяет другим людям руководить его решениями. При этом информированные современники указывали на влияние императрицы, отчасти подтверждая ее самооценку» (с. 204).

Тема слабоволия царя порой соседствовала с утверждениями о том, что интеллектуальные способности императора ограничены. В мемуарах современников отмечается, что распространенное представление о царе как о недалеком, слабом и бесхарактерном человеке, который стал игрушкой в руках его хитроумных и эгоистичных слуг, существовало задолго до 1914 г. В годы Первой мировой войны образы слабого, недалекого, пьяного и даже «вшивого» русского царя использовались порой в пропаганде Германии и Австро-Венгрии, иногда рядом с ним изображался и Распутин.

В годы войны негативное отношение к «слабому» и «неспособному» царю стало ещё более заметно. «В известных нам делах по оскорблению членов императорской семьи Николай II предстает прежде всего как «царь-дурак». «”Дурак” – наиболее часто встречающееся слово в известных нам делах по оскорблению императора в годы войны. Оно употребляется 151 раз (16% от известного числа оскорблений царя), следующее по “популярности” слово “кровопийца” употребляется только 9 раз. Слово “дурак” используют как некоторые иностранцы и инородцы, считающие

“дураками” “всех русских”», так и русские патриоты разной национальности, с сожалением именующие дураком “нашего царя”. Можно предположить, что слово “дурак”, одно из самых распространенных, простых и универсальных русских ругательств, в первую очередь приходило в голову людям, ругавшим царя под влиянием внезапно полученных известий. Можно было бы предположить, что не все оскорбители царя действительно характеризовали так его умственные способности. Однако показательно, что других членов императорской семьи оскорбляли иначе. Так, вел. кн. Николая Николаевича именовали “дураком” довольно редко. Ни один из известных нам оскорбителей Александры Федоровны не назвал царицу “дурой”. Наряду со словом “дурак” при оскорблении императора используются и схожие слова – “губошлёп”, “сумасшедший”» (с. 207–208).

Б.И. Колоницкий полагает, что в течение какого-то времени образ Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича объединял до некоторой степени людей разных политических взглядов (хотя и этот востребованный образ не всегда соответствовал своему оригиналу). Но именно такой влиятельный персонифицированный символ национального объединения, архаичный по форме, но харизматичный по сути, образ, конкурирующий с образом «державного вождя», императора, стал уже в 1915 г. представлять известную опасность для режима. Если люди либеральных взглядов изображали, искренне или нет, великого князя сторонником прогрессивных реформ, то немало монархистов видели в нем либо кандидата на роль «настоящего царя» либо спасителя отечества, которому мешают дурные советники «слабого» государя. Однако после смещения с поста Верховного главнокомандующего в глазах части людей великий князь теряет свою приобретенную харизму. Это находит свое отражение в слухах и в делах по оскорблению членов императорской семьи. Если ранее вел. кн. Николая Николаевича обвиняли прежде всего в жестокости и чрезмерной воинственности, то начиная с лета 1915 г. он порой предстает как пьяница, вор и развратник, а иногда его даже именуют предателем. Грозный полководец в некоторых слухах начинает напоминать «царя-дурака». В

то же время часть общества сочувствует великому князю, «сосланному» на Кавказ, он воспринимается чуть ли не как «жертва режима». Еще популярный в некоторых кругах опальный великий князь из символа общенационального объединения стал даже превращаться в один из символов оппозиционного движения.

Особое значение имело решение царя взять на себя командование действующей армией в августе 1915 г. Если ранее, до принятия командования, Николай II изображался официальной пропагандой прежде всего как величественный высочайший вдохновитель победы, то отныне он описывался и как ее неутомимый организатор. Подчеркивалась и постоянная занятость императора-полководца, при этом использовался распространенный образ бодрствующего неутомимого вождя, который напряженно трудится ради блага подданных. Однако в слухах военного времени недалекий царь представал как безвольный персонаж, который находится под полным влиянием своей жены и (или) своих советников, среди которых преобладают немцы. Весть о принятии императором командования вызвала новую волну оскорблений императора. «Писарь тамбовской казенной палаты, например, заявил: “Такой дурак, а принимает командование армией. Ему бы только дворником быть у Вильгельма”. О том же говорили и другие оскорбители императора» (с. 160).

При этом Николай II не воспринимался как главный злодей – «он пассивный, слабовольный объект воздействия, он по-своему является жертвой хитроумных враждебных манипуляций. Иногда в оскорблениях царя обвинения в его адрес соседствуют с некоторым сочувствием слабому и несчастному человеку. Подобно российской императрице, русские крестьяне считают, что царь часто попадает под плохое влияние своих дурных советников, разумеется, при этом назывались иные имена коварных царедворцев. Но и образованные современники полагали, что император является объектом манипуляций царицы и “придворной клики”. Мнение это разделяли и люди весьма консервативных взглядов. Л.А. Тихомиров записал 11 апреля 1916 г. в своем дневнике: “На верху – прежнее положение. Всесильный Распутин. Безусловное подчинение Царя его Супруге”»

(цит. по: с. 218).

Показательным Б.И. Колоницкому представляется то, что как раз в это время царской семьей и Министерством императорского двора прилагаются особые усилия к тому, чтобы популяризировать образы царя, наследника и царицы. Существенно корректируется их репрезентация, появляются новые образы. Характерно, однако, что усилия по пропаганде императора и императрицы существенно ослабевают с середины 1916 г. Образ царицы фактически исчезает из иллюстрированных изданий, меньшее внимание уделяется и царю. Вряд ли было случайным, что Николай II фактически прекращает свои пропагандистские поездки по стране: видимо, царь и царица ощущали, что они проигрывают в это время грандиозное пропагандистское сражение за сердца и умы своих подданных. При этом меняется практика наказаний за оскорбление члена императорской семьи. Применение этих статей Уголовного уложения ограничивалось в соответствии с высочайшим повелением 10 февраля 1916 г., вследствие чего появился секретный циркуляр министра юстиции, требовавший ограничения и смягчения наказаний за это преступление. Автор монографии полагает, что множество подобных дел, поступавших в суды, могло создать почву для нежелательных политических демонстраций и негативно влиять на общественное мнение, а власти желали этого избежать.

Едва ли не большинство современников полагало, что инициатором важных решений о смене командования и перетасовках в верхах была царица Александра Федоровна. Обвинения в адрес «молодой императрицы» продолжала выдвигать и мать царя, вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее мнение не было тайной для ряда влиятельных аристократов. Действительно, главным объектом слухов военного времени была Александра Федоровна. Распространявшийся со временем в разных общественных кругах образ «развратной предательницы», живущей в царском дворце, стал в глазах многих современников и наиболее важным символом разложения режима, и убедительным «доказательством» коварной измены в верхах. «Последняя царица никогда не была особенно популярной, однако, по свидетельствам многих современников,

общественному мнению долгое время она была скорее неизвестна, чем ненавистна» (с. 242).

Но во время Мировой войны непосредственное вмешательство царицы Александры Федоровны в государственные дела серьёзно возросло. Особенно это проявилось после того, как император в августе 1915 г. принял на себя командование и надолго уезжал в Ставку. «В разделе “Придворные известия” столичные газеты сообщали: “23 августа в Царское Село выезжал председатель совета министров статс-секретарь И.Л. Горемыкин”. Читатель мог понять, что в отсутствие царя доклады главы правительства будет принимать императрица. Было известно, что царица принимала и других министров – далеко не всем людям даже весьма консервативных политических взглядов такое положение могло нравиться. Общественное же мнение еще более преувеличивало политическую роль императрицы» (с. 314). В годы войны слухи о «правлении императрицы», дополнявшиеся всевозможными слухами о влиянии Распутина, раздражали даже людей монархических взглядов.

Действительное и предполагаемое вмешательство императрицы в государственные дела нарушало установившиеся давние традиции управления правительством и роняло авторитет Николая II. Слухи о влиянии царицы подтверждали распространенное мнение о неведении, некомпетентности императора. Подобное положение беспокоило многих преданных друзей царской семьи, иногда даже сама императрица Александра Федоровна осознавала опасности, вызванные ее новой политической ролью. Но все же она считала необходимым продолжать свое участие в большой политике и государственном управлении. Известно, что по крайней мере в некоторых ситуациях и сам Николай II одобрял вмешательство императрицы в государственные дела. «В… письме от 25 августа 1915 г. он писал ей: “Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла этой обязанности давно уже, или хотя бы во время войны! Я не знаю более приятного чувства, как гордиться тобой, как я гордился все эти последние месяцы, когда ты неустанно докучала мне, заклиная быть твердым и держаться своего мнения”» (цит. по: с. 315). Однако слухи

явно преувеличивали политическое влияние императрицы Александры Федоровны и приписывали ей чуть ли не абсолютную власть в стране. «Такое мнение разделяли и люди, которые по должности должны были быть вполне информированными: “Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным”, – записал в своем дневнике французский посол М. Палеолог. О том же сообщали и другие дипломаты» (с. 315–316). При этом иностранные дипломаты ссылались на «экспертные» оценки своих влиятельных собеседников, казавшиеся авторитетными, – сообщения видных российских государственных и политических деятелей, военных и дипломатов, которые, казалось бы, должны были владеть подлинной информацией. Не позднее августа 1915 г. появляются уже и слухи о регентстве императрицы (иногда даже о совместном регентстве императрицы и Распутина); они были спровоцированы решением императора принять на себя верховное командование действующей армией.

Царицу Александру Федоровну также нередко обвиняли в супружеской измене. Авторы памфлетов революционного времени утверждали даже, что она «насадила такой разврат, что затмила собой самых отъявленных распутников и распутниц человечества». Назывались различные имена; но, как известно, чаще всего утверждалось, что царица была любовницей Распутина, слухи об этой связи еще до революции фиксировала цензура. Имя «старца» даже «расшифровывалось» столичной молвой следующим образом: «Романова Александра своим поведением уничтожила трон императора Николая». «Старец» воспринимался общественным мнением как фаворит императрицы. В подобные слухи верили не только простолюдины, они распространялись и в среде интеллигенции.

«Спрос на тексты и изображения, «подтверждавшие» справедливость распространявшихся слухов, создавал своеобразную рыночную конъюнктуру «самиздата», которая настойчиво требовала все новых сенсаций, новых разоблачительных текстов и еще более откровенных изображений. В интеллигентных кругах зачитывались машинописными вариантами сенсационной антираспутинской книги С. Труфанова “Святой черт”, не разрешенной к печати... Упоминания об этом произведении можно было встретить и в легальной печати, а

наиболее «пикантные» страницы этого сочинения читались в списках. В Москве, например, они появились не позже февраля 1916 г.» (с. 323–324):

Автор отмечает, что тактикой разоблачений окружения царя до революции широко пользовалась либеральная оппозиция. «Так, Прогрессивный блок вел активную кампанию по дискредитации “темных сил”, “распутинцев” – действительных поклонников, клиентов и союзников “старца”, либо особ, считавшихся таковыми. Однако… вряд ли всегда можно говорить о намеренной фабрикации слухов либералами: многие деятели оппозиции сами, похоже, искренне верили фантастическим домыслам об “измене в верхах”. Они выстраивали свою политическую тактику, основываясь на невероятных и недоказанных сообщениях, которым сами вполне доверяли» (с. 535). Ещё более показательно, что в разоблачении Распутина активно участвовали консервативные, даже правые общественные деятели.

Таким образом, последнего царя многие его современники считали, справедливо или нет, слабым правителем. Царица же имела устойчивую репутацию всевластной, развратной и коварной покровительницы могущественных «внутренних немцев» и всевозможных «темных сил». Эти карикатурные образы, жившие в сознании многих подданных Николая II, могли весьма отличаться от более или менее реалистичных портретов царской четы, однако именно они оказывали огромное влияние на развитие политической ситуации. Император и императрица искренне любили друг друга и желали военной победы России, но миллионы их современников были уверены в обратном, а именно это и определяло их действия.

Слухи о прогерманских настроениях царицы Александры Федоровны получили широкое распространение уже в 1915 г. Автор считает это закономерным: если осенью 1914 г. разговоры о немцах в царском окружении вызывали шутки, то весной 1915 г., после поражений русской армии, в условиях милитаристских пропагандистских кампаний, провоцирующих новые волны шпиономании и германофобии, представление о германском окружении царя создавало предпосылки для оскорбления императора,

– по вине царя во дворце и в стране якобы главенствуют немцы.

Разговоры о немецком окружении и немецком происхождении русских царей возникали постоянно во время различных кризисных ситуаций, что заставляло императоров покровительствовать русскому национализму. Подобные слухи не могли не возникнуть и во время войны с Германией.

Нарастание германофобии в обществе очевидно способствовало усилению настроений, опасных для режима. Антинемецкая пропагандистская кампания могла «переводиться» массовым сознанием как призыв к немедленной атаке на социальные верхи, популярные лозунги германофобов «прочитывались» порой антимонархически, нередко удивляя тем самым создателей и распространителей милитаристских и националистических мифов эпохи войны. «В некоторых случаях участники разнообразных конфликтов сознательно утилизировали в своих целях антинемецкую риторику: если консервативные политические и государственные деятели обвиняли левых в прогерманских симпатиях или даже сотрудничестве с врагом, то тот же самый прием даже с большим успехом использовался левыми против правых. Новые идеологические и пропагандистские орудия, изобретенные во время войны, необычайно быстро применялись политическими противниками против их создателей» (с. 573).

Не только нелегальные издания социалистов и легальные газеты либералов, но и некоторые националистические органы печати, например «Новое время», внесшее солидную лепту в распространение настроений шпиономании и ксенофобии, по-своему активно готовили революцию. На дестабилизирующую роль этого влиятельного издания указывали уже в 1914 г. даже некоторые министры. В 1915 г. главы правительственных ведомств еще более резко критиковали «Новое время». Шовинизм военного времени разъедал политическую систему многонациональной империи. Негативная интеграция общества на основе ксенофобии и шпиономании оказалась чрезвычайно опасной для режима.

Удивлявшая современников легкость, с которой победила Февральская революция, объясняется, по мнению Б.И. Колоницкого,

не только силой напора на власть ее давних противников, но и отсутствием поддержки даже со стороны немалой части монархистов, оставшихся таковыми даже в момент падения монархии. «Разумеется, революцию 1917 года невозможно представить без нарастания социальной напряженности в стране, на значение этого фактора справедливо указывают чуть ли не все исследователи, представители различных исторических школ. Призывы на войну, новые поборы и повинности, проблемы, связанные с размещением беженцев и выдачей пособий, наконец, недостатки снабжения провоцировали недовольство властями разного уровня и усиливали противоречия на местах (это легко заметить и при изучении дел по оскорблению членов царской семьи). Однако нарастание, обилие и многообразие социальных конфликтов само по себе не всегда ведет к революции… Февраль 1917 г. невозможно понять без изучения специфической военной культуры эпохи войны, без исследования процессов патриотической мобилизации, без изучения особенностей отношения к правящей династии в это время» (с. 568–569).

Многие из тех, кто вплоть до революции ощущали себя верноподданными императора Николая II, на деле переставали быть надежной опорой режима. Даже продолжая отождествлять себя не только с монархией, но и с царем, они могли искренне верить во всемогущество «немецкой партии» при дворе, могли возмущаться господством «темных сил», могли приходить в отчаяние, получая новые «доказательства» влияния Распутина и «правления» императрицы. Подобно С.Булгакову, они страдали из-за того, что, вопреки своему искреннему желанию, просто не могли любить своего царя. «Без радости они воспринимали падение монархии, с тревогой смотрели в будущее, однако поддерживать последнего императора, любить его через силу они уже не могли» (с. 578).

С.В. Беспалов

КОЭН А.

ВООБРАЖАЯ НЕВООБРАЗИМОЕ: МИРОВАЯ ВОЙНА, СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА ПУБЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ, 1914-1917

COHEN A.J.

IMAGINING THE UNIMAGINABLE: WORLD WAR, MODERN ART, AND THE POLITICS OF PUBLIC CULTURE IN RUSSIA, 1914-1917. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2008. – XII, 232 p.
(Реферат)

В монографии американского историка Арона Коэна рассматривается роль Первой мировой войны в истории русской культуры и ее воздействие на публичную сферу. По его мнению, для культурной жизни России война имела гораздо большее значение, чем революция, и он предлагает посмотреть на историю России 1914-1917 гг. так, как будто революции не произошло. Такой угол зрения должен позволить, по словам автора, увидеть те изменения в жизни общества, которые обычно выпадали из поля зрения историков, находившихся в плену парадигмы 1917 г. В центре его внимания – публичная сфера, в том числе гражданское общество, которое трактуется в книге значительно шире, чем было принято ранее, когда всё сводилось к политическому аспекту. Ключевой характеристикой гражданского общества является, по Коэну, не политическая оппозиция

абсолютизму, а его свойство «самомобилизации», предполагающее, что инициатива и импульсы развития идут снизу, а вовсе не исходят от государства, церкви или партии (с. 6-7). Подчеркивая, что именно хорошо развитое гражданское общество, а не государство «оставалось самым важным фактором в формировании широкой публичной культуры», автор утверждает, что процесс его развития продолжался и в годы Первой мировой войны (с. 6).

Понятие «публичной культуры» является основополагающим для исследования А.Коэна. Под этим термином в книге понимается культура модерного государства, ассоциирующаяся с городом, средствами массовой коммуникации и потреблением (консюмеризмом), которая, однако же, не сводится к массовой культуре. Включая в себя институты и идеологию, обычаи и моду, публичная культура функционирует в реальном и воображаемом пространстве, определяя поведение людей в публичной сфере и обретая целостность при помощи таких инструментов, как закон (право), язык и средства массовой информации. Она задает параметры поведения в обществе и оказывает влияние на содержание циркулирующих в этом обществе идей (с. 8).

Публичная культура, в частности, формирует отношения художника-творца и публики, которые пронизаны «политикой» в самом широком понимании этого слова. В императорской России, пишет А.Коэн, художники были глубоко втянуты в общественную жизнь, они находились в состоянии конкуренции друг с другом, борясь за внимание не только публики, но и Академии художеств, и других институтов, которые создавали их профессиональный статус (с. 9).

Автор рассматривает культурную жизнь пореформенной России до 1914 г., останавливаясь на таких вопросах, как выработанные за это время эстетические принципы, особенности культурных институтов и профессиональных взаимоотношений в контексте развития гражданского общества. Он отмечает, что в этот период шел процесс превращения сословного династического государства с аграрной экономикой и аристократической «высокой» культурой в индустриальное государство современного типа с коммерциализованной массовой культурой. К 1914 г. в России

аристократические институты и эстетика неоклассицизма, присущая началу XIX в., моральные ценности и политические взгляды русской интеллигенции середины и конца века, а также новая массовая культура сосуществовали в пространстве публичной культуры, что значительно усложняло положение каждого отдельного художника (с. 17-18).

В книге характеризуется институциональная структура художественного мира довоенной России, которая с расширением публичной сферы всё усложнялась. Она включала в себя Императорскую Академию художеств, государственные и частные музеи, несколько крупных и множество мелких объединений художников (эстетических групп), а также систему покровительства, которую составляли как богатые купцы и коллекционеры-аристократы, так и более широкая публика, чьи вкусы ограничивались преимущественно реалистической и академической живописью. Однако модернисты Серебряного века – «символисты, декаденты, эстеты», группировавшиеся в основном вокруг объединений «Мир искусства» (1898-1903, 1910-1924) и «Союз русских художников» (1903-1923), получили и свою публику, главным образом гимназическую и студенческую молодежь. И хотя это течение жестоко спорило с «реалистами» и «академиками», новое движение авангардизма, возникшее в русском искусстве после 1907 г., значительно превзошло их в бунтарстве. Авангардисты 1910-х годов – кубисты и футуристы – предложили «сбросить Пушкина с корабля современности». При этом они пытались строить новые отношения между искусством и публикой, втягивая ее в процесс творчества. Вызов, который бросали авангардисты буржуазному обществу, выражался в публичных акциях и манифестах, их объединения и выставки носили подчеркнуто оригинальный характер – «Бубновый валет» (1910-1917), «Ослиный хвост» (1912).

Первая мировая война, пишет автор, внезапно перевернула весь этот понятный мир публичной культуры с ее устоявшимися правилами. Он прослеживает, как начавшаяся массовая мобилизация изменяла публичную сферу, как условия военного времени привели к изменению самих форм искусства, как ощутившие новые запросы

общества художники пришли к безобъектному искусству (прежде всего речь идет о Казимире Малевиче и Владимире Татлине).

В монографии предлагается углубленное толкование понятия массовой мобилизации, которая означала в 1914 г. не просто призыв в действующую армию. Всё внимание, все мысли и действия общества сосредоточились на войне. В результате такой массовой мобилизации повышается уровень социальной коммуникации, возникает общность интересов и одновременно подрываются нормы и институты довоенного времени. Люди стремятся упорядочить хаос, найти новые способы выживания, и в этих условиях, утверждает А.Коэн, гражданское общество в России существенно расширилось – правда, на короткое время (с. 182).

Война не сосредоточивалась в окопах, она настигла всех и каждого, причем во многом благодаря средствам массовой информации, пишет А.Коэн, рассматривая патриотическую культуру, возникшую в 1914 – начале 1915 г. Неожиданно стали популярными патриотические спектакли и фильмы, в репертуарах цирков и кукольных театров появились антигерманские темы. Плакаты, открытки, карикатуры, дешевые литографии играли большую роль в популяризации войны и ее образов среди народа. Публичный дискурс, по словам автора, в первый год военных действий преподносил воображаемую войну в ура-патриотическом ключе (с. 68).

Однако большинству, и художники не были здесь исключением, пришлось принять участие в реальной войне. Кто-то был призван в армию, многие активно участвовали в общественной деятельности, прежде всего в благотворительности, и в пропагандистских кампаниях. Художники всех эстетических направлений, от академиков до авангардистов, создавали иллюстрации по военной тематике и карикатуры. Широкое распространение получил плакат «Враг человечества» Николая Рериха, стилизованный под лубок, на котором кайзер Вильгельм был изображен в виде Антихриста, разрушающего города и памятники культуры (что служило символом «германского варварства»).

В 1914 г. художественная жизнь в России не прекратилась, пишет автор, она стала интегральной частью военной культуры.

Художники внесли в нее свой вклад, укрепляя «социальное и политическое единство». «Искусство для искусства» превратилось в «искусство для России» (с. 83-84). До войны, замечает автор, война и искусство казались отдельными сферами деятельности, но в 1914 г. деятели искусств были вовлечены в великие события. Они создали милитаризованную культуру, которая с угасанием ура-патриотической волны перешла в новую стадию военных будней.

В 1915-1916 гг. художественный мир оправился после шока, испытанного в первый год войны. После краткого затишья началось необыкновенное оживление: посетители стали возвращаться в музеи, причем в невиданных масштабах; интерес к искусству возрос в такой степени, что выставочный сезон 1915-1916 гг. пришлось начать намного раньше обычного. Характерно, что был забыт присущий мирному времени «язык конфронтации», и в выставках совместно участвовали прежде несовместимые между собой группы. Объединяли их и благотворительные выставки и аукционы, которые превратились теперь в рутину художественной жизни обеих столиц, причем приносили всё больше средств. Это обстоятельство было связано с изменением в конфигурации публики, которая становилась более демократической и одновременно пестрой. Солдаты и медицинские сестры составляли теперь немалую часть посетителей музеев, а на выставках и аукционах среди покупателей появились новые лица; особенно заметны были беженцы из Польши и западных окраин империи. «Обыватели» и «нувориши», по сообщениям тогдашних газет, «выстраивались в очередь» за картинами, стремясь вложить деньги, пока их не съела инфляция (с. 94).

В новых условиях контроль над искусством, по замечанию автора, уходил из рук авторитетных институций и критиков, которые были крайне недовольны новой ориентацией живописи на рынок (с. 96-97). Действительно, рынок произведений искусства военного времени отличался не просто консервативными, а даже примитивными вкусами, которым вполне отвечали работы «академиков» - простые и понятные. Спросом среди «новых Медичи» пользовались главным образом пейзажи и жанровая живопись. В то же время модернисты также повернули к более реалистическому искусству, чему

способствовало не только стремление удовлетворить запросы публики, но и особый психологический климат войны, и личные обстоятельства. В частности, застрявший в 1914 г. в Витебске Марк Шагал забросил кубистские и экспрессионистские тенденции и создал не только ряд более реалистических картин, но и серию набросков чернилами, изображавших раненых солдат – то, что он видел вокруг (с. 102).

При этом, отмечает А.Коэн, «предметное и нарративное» искусство военных лет почти не отображало реальную войну. Художники-баталисты не были востребованы, государство их почти не поддерживало, а их небольшие выставки в штыки встречались критикой. Реалисты предпочитали более «мирные» сюжеты, а модернисты искали и не находили художественных форм для изображения ужасов войны, превосходивших человеческое воображение. Таким образом, пишет Коэн, «художники отвернулись от войны в тот момент, когда она была высшей реальностью повседневной жизни» (с. 108). В конечном счете, продолжает автор, только авангардисты нашли способ изображения современной реальности. «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Угловой контррельеф» Владимира Татлина были созданы в 1915 г. в условиях военного времени, и сегодня признаются величайшими достижениями европейского искусства.

Хотя, как замечает автор, невозможно утверждать, что «Черный квадрат» не появился бы в мирное время (первые эскизы были сделаны Малевичем к постановке оперы «Победа над солнцем» в 1913 г., эту дату сам художник и считал началом супрематизма). Однако, по словам А.Коэна, реакция Малевича, Татлина и других художников-авангардистов на изменения, происходившие в годы войны в обществе и культуре, имела огромное значение для развития нового искусства и, главное, для интеллектуального оформления новых направлений супрематизма и конструктивизма. По его мнению, возникновение беспредметного искусства в императорской России неотделимо от Первой мировой войны и возникшей тогда культуры. С его точки зрения, «Черный квадрат» как самый «неразрушимый» элемент природы вносил порядок в хаотическую реальность, которая в 1915 г. означала мировую войну (с. 116-117, 144).

Как пишет А.Коэн, радикальные модернисты и авангардисты с полным правом вошли в публичную культуру императорской России исключительно благодаря условиям военной мобилизации. Он отмечает, что публичные высказывания, да и само поведение авангардистов перед войной действительно бросали вызов истеблишменту, но с началом войны они приняли активное участие в создании патриотической культуры. Произошедшие в публичной культуре изменения дали им возможность не только участвовать в тех сферах, куда они раньше не имели доступа или отказывались входить, но и объединиться, чтобы действовать совместно во имя «защиты искусства». Так случилось, к примеру, во время дебатов о Третьяковской галерее в 1916 г. по поводу реорганизации экспозиции ее новым директором И.Э.Грабарем. Московская городская дума, общественные деятели и критики перевели эти дискуссии в политическую плоскость, так что в противостоянии сторонников консервативного националистического искусства и защитников модернизма возникла отчетливая политическая составляющая. Участие авангардистов в либеральной политике, проводившейся Московской думой, свидетельствовало, по мнению автора, о том, что современное искусство не было в годы Первой мировой войны революционным: это было искусство либеральное (с. 157).

И в революционные годы работа на общественное благо, по признанию, например, Кандинского, стояла для многих художников-авангардистов на первом месте. В то же время, утверждает автор, профессиональные интересы продолжали играть для них важную роль, в то время как их политическим убеждениям не следует придавать серьезного значения. Авангардистское искусство, будучи частью публичной культуры, пишет А.Коэн, не было в своей основе «тоталитарным, коммунистическим, фашистским, националистическим, анархистским или либеральным». Его политическое значение изменялось в соответствии с политическими, социальными и культурными переменами, происходившими в профессиональной жизни художников. Автор полемизирует с предшествующей историографией, утверждая, что считать искусство авангарда дореволюционных лет «искусством революции» означает

«читать историю в обратном направлении», приписывая ей то, чего в то время не существовало (с. 184).

А.Коэн предлагает смотреть на период 1914-1921 гг. как целостный, связанный воедино процессом мобилизации общества. Причем революция, замечает он, не является каким-то определяющим событием в истории русского авангардизма. Мы легко можем вообразить его дальнейшее существование в других условиях, без революции. Авангардизм мог бы достичь успеха и при конституционной монархии, и в демократической республике или при консервативном националистическом режиме (как это произошло со многими русскими художниками-авангардистами в эмиграции). Поражение революции могло и дискредитировать искусство авангарда, как это произошло в Германии с экспрессионизмом. Однако, заключает Коэн, мы не можем вообразить его без Великой войны. Именно тогда авангард создал те визуальные формы, которые революционизировали наш взгляд на мир (с. 184-185).

О.В.Большакова

БОЛЬШАКОВА О.В.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

(Обзор)

В зарубежной историографии Первой мировой войны гендерная проблематика давно уже занимает исключительно заметное место, что объясняется прежде всего смещением фокуса внимания исследователей с военных действий и государственной политики к «истории с человеческим лицом». Сначала женская социальная история энергично дополняла нарратив о Великой войне, изучая вклад женщин в традиционно «мужское» дело. В 1990-е годы тему «гендер и война» подхватила «новая культурная история». Ее интерес к образам и стереотипам реализовался уже не столько в изучении идеалов фемининности, сколько в обращении к проблеме «кризиса маскулинности» начала XX в. Поскольку образ воина представляет собой, с одной стороны, квинтэссенцию мужественности, а с другой – связывается в современную эпоху с исполнением гражданского долга перед нацией, гендерный анализ все шире начинает применяться в исследованиях Первой мировой войны. Важнейшими темами для гендерной истории становятся насилие, сложные взаимоотношения между фронтом и тылом, формы визуализации войны и ее влияние на общественное сознание, наконец, изменение концептов патриотизма и гражданства в контексте военного опыта.

Для зарубежной русистики, которая только недавно всерьез занялась проблемой «возвращения» России в мировую историографию

Великой войны, гендерное измерение также начинает обретать всё большее значение. Сегодня оно присутствует в работах, написанных в русле как социальной, так и культурной истории. И в тех, и в других отмечается, что война всегда считалась той областью, где гендерный аспект особенно громко заявляет о себе. В соответствии с вековыми представлениями, мужчинам на войне отводилась активная роль – они с оружием в руках защищали свою страну на полях сражений, в то время как женщины оставались дома и выполняли пассивную функцию, обеспечивая «надежный тыл». Их роль сводилась к традиционному служению семье и детям, однако в войнах Нового времени женщины обретают иную роль и начинают выполнять свой долг перед нацией в качестве медицинских сестер, а затем и принимают участие непосредственно в боевых действиях (см. 4, 10).

Первая мировая война явилась, по выражению британского историка-русиста Питера Гатрелла, «моментом истины, когда принятые понятия о гендерных ролях и границах подверглись тяжкому испытанию» (2, с.199). В условиях массовой мобилизации мужчин женщины заняли их место не только в крестьянском хозяйстве, но и в экономике в целом. Они вступили на новую для них территорию публичной сферы, активно взаимодействуя с государством – прежде всего в лице чиновничества. Гатрелл отмечает определенную «феминизацию» политического дискурса 1914-1918 гг., указывая, в частности, на возрастание удельного веса понятий о «домашнем» в политической риторике, в которой прежняя историография замечала лишь «эпическое» - обостренное внимание к вопросам государственного переустройства и революционные устремления. Как социальный историк и специалист по миграциям населения, Гатрелл связывает усиление «семейного» компонента в политическом дискурсе с конкретным жизненным опытом, прежде всего с появлением огромного количества беженцев, которых необходимо было как-то обустроить, дать работу, пищу и кров. Он подчеркивает вклад женщин, которые занимались этой незаметной работой, оставаясь по-прежнему в тени и занимая по отношению к чиновникам-мужчинам подчиненное положение. По его мнению, необходимо серьезное изучение темы «гендер и война», что должно включить в себя не только такие

«самоочевидные», по его словам, аспекты, как медсестринское дело, но и модели поведения мужчин на рабочем месте и на фронте, стратегии выживания пленных и беженцев и многое другое (2, с.210-211).

Нет никаких сомнений, что российские исторические реалии представляют собой настоящую кладезь для женской истории, особенно когда речь идет о Первой мировой войне, потребовавшей участия не только миллионов мужчин, но и женщин. Однако зарубежная русистика занималась этой темой крайне мало, и только совсем недавно появилось несколько работ, в которых исследуется роль и место женщин в сражениях Великой войны. Как правило, это достаточно традиционная социальная история, ставящая своей задачей сбор фактов и реконструкцию на их основе реальной действительности. В монографии американской исследовательницы Лори Стофф «Они сражались за родину» (10) рассматривается непосредственное участие женщин в боевых действиях – феномен сам по себе исключительный для того времени, особенно если учесть его масштабы. К 1917 г. в России, по статистическим данным, было не менее 6 тыс. женщин-солдат, что несопоставимо с остальными воюющими державами. В какой-то степени этому способствовало женское движение, разворачивавшееся в России в начале XX в. Немаловажное значение придает автор и социокультурным факторам, которые включали в себя давнюю традицию участия женщин в войнах, в частности, в 1812 г. В то же время сыграли свою роль и конкретные обстоятельства.

Описывая события, сопутствовавшие созданию летом и осенью 1917 г. в России (впервые в мире) отдельных женских воинских подразделений, Л.Стофф отмечает, что это был абсолютно новый способ использования женщин в войне, который нарушал все традиционные гендерные нормы. Такое, по ее мнению, могло произойти только при наличии определенных условий, которые сложились к этому времени: тяжелое положение на фронтах и необходимость влить новые силы в измученную войной армию, а также наступившие после Февральской революции политическая анархия и развал общества (10, с.1-2).

Л.Стофф считает, что создание особых женских частей являлось в чистом виде социальным экспериментом, предпринятым главным образом в пропагандистских целях. Женщины должны были своим примером вдохновить мужчин и поднять их моральный дух, а также пристыдить их, если те уклонялись от выполнения своего патриотического долга – защиты родины. Это подтверждается и той готовностью, с которой журналисты, фотографы и кинооператоры распространяли сведения о русских женщинах-солдатах буквально «от Петрограда до Нью-Йорка». И тем, с какой быстротой после Октябрьской революции женские боевые подразделения исчезли (10, с.3-4).

В монографии отмечается, что участие женщин в боевых действиях проходило сначала «в индивидуальном порядке», причем большинство из них выдавали себя за мужчин. Они шли на фронт добровольно. Многие хотели находиться рядом со своими мужьями, кто-то искал приключений, кто-то стремился реализовать себя в активной роли солдата, а кого-то толкало на такой поступок и личное горе. Тем не менее, пишет Л.Стофф, в большинстве случаев женщины шли на фронт из патриотических побуждений, что напрямую связывает их участие в войне с проблемой гражданства (citizenship).

По мнению автора, история женских боевых подразделений в России в годы Первой мировой войны позволяет не только «вернуть» женщин в историю и добавить новые мазки к широкой панораме событий, но и поставить под вопрос исключительно «маскулинное» понятие войны, и пересмотреть общепринятые представления о социальной роли женщин. Война серьезно повлияла на жизнь женщин, которые все активнее участвовали в экономике, заняв место ушедших на фронт мужчин, занимались благотворительностью, ухаживали за ранеными. Границы между поло-ролевыми функциями, между понятиями о том, что пристало настоящей женщине, а что является прерогативой мужчин, размывались. Принимая на себя мужскую роль защитника, женщины бросали прямой вызов традиционным гендерным концепциям патриотизма и гражданства. Результат, пишет автор, был в лучшем случае двойственным. Далеко не все принимали такие «неженские» роли, и не все разделяли энтузиазм в отношении

женского патриотизма. В любом случае, существование женских боевых частей в годы Первой мировой войны было явлением временным, реакцией на острую ситуацию. После окончания кризиса началось «возвращение к нормальности», и на первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли (10, с.3-4).

В своей новой работе, которая является частью будущей книги, Л.Стофф обратилась к изучению деятельности медицинских сестер в годы Первой мировой войны в России, или сестер милосердия, как их тогда называли (9). В отличие от женщин-солдат, пишет автор, они не собирались преступать границы дозволенного для своего пола, выполняя традиционный для России «подвиг служения». С разворачиванием военных действий потребность в медицинском персонале настолько возросла, что Красный Крест в сотрудничестве с Земгором занялся организацией краткосрочных курсов для подготовки сестер милосердия, так что к 1917 г. их уже было порядка 30 тыс. человек. Они вышли из самых разных социальных слоев, но преимущественно принадлежали к образованным классам, поскольку образование, хотя бы минимальное, оставалось главным критерием при отборе. Условия их службы были также многообразными, от элитарных госпиталей в столицах (которые обычно выбирали представительницы аристократии) до медпунктов на линии фронта, куда зачастую против воли попадали те, кто не располагал богатством и связями.

Л.Стофф обращается к мемуарному наследию сестер милосердия, делопроизводственной документации, отчетам прессы для того, чтобы поставить под вопрос так называемый «миф о военном опыте», который традиционно считали исключительно «мужским». Она пишет, что из-за мобильности фронтовой линии медицинские службы на Восточном фронте не могли находиться в нескольких километрах от линии огня, как этого требовали правила. Немалая часть русских сестер милосердия работала не в стационарных госпиталях, как их коллеги на Западном фронте, а в «летучих» подразделениях, и условия их жизни были максимально приближены к боевым. Зачастую им приходилось не только находиться под огнем, переживать газовые атаки, но и участвовать в бою. И потому опыт

медицинских сестер, пишет автор, во многом сходен с опытом солдат-мужчин – даже если речь идет о его мифологизированной форме. Этот опыт, по ее словам, «заставляет нас думать о войне, выходя за пределы строго очерченных гендерных концепций» (9, с.111-112).

Историки-русисты, обращающиеся сегодня к гендерному аспекту Первой мировой войны, склонны считать, что в этот период гендерные дихотомии размываются, как размывается и сам фронт. В частности, отмечает Питер Гатрелл, в условиях оккупации с врагом взаимодействует уже не армия, а гражданское население. При этом миллионы насильственно перемещенных из районов военных действий людей «несут с собой войну» во внутренние регионы России (2, с.200).

К иным выводам приходит Карен Петроне, исследовавшая в своей монографии культурную память о Первой мировой войне в России в сопоставлении с Западной Европой (4). В центре ее внимания находится дискурс, который включает в себя все публичные и медиа-репрезентации Первой мировой войны в период 1914-1941 гг., в том числе литературу, печать, изобразительные источники, мемориальные события. В российском дискурсе К.Петроне обнаруживает сходство с западноевропейскими представлениями о резкой противоположности между фронтом и тылом. Как и в Западной Европе, в России имели широкое хождение стереотипы о героическом поведении мужчин на фронте и о моральном разложении тыла, ассоциировавшемся в первую очередь с женщинами. Однако те же «биполярные оппозиции» использовались и по отношению к женщинам на войне: одни (например, генерал Брусилов) превозносили их высокую нравственность и героизм, другие клеймили распущенность. По замечанию К.Петроне, обе крайности в этих дискурсивных конструкциях не имели отношения к реальному жизненному опыту большинства женщин (4, с.87).

Рассматривая вопрос о том, какое влияние оказали война и революция на гендерный порядок в России, американская исследовательница подчеркивает, что несмотря на полноту гражданских прав, дарованных женщинам советской властью, несмотря на эмансипаторскую риторику большевиков, гендерная

иерархия сохранялась нетронутой. Более того, после окончания войны исключительно «маскулинный» дискурс революционной эпохи привел к маргинализации женщин и домашней сферы. При этом рождение в огне революции «новой советской маскулинности» следует, по ее словам, рассматривать с осторожностью, не упуская из виду того, что мужская идентичность находилась в межвоенный период в процессе становления, да и кроме того, существовало несколько типов идентичности советского мужчины, конкурирующих между собой (4, с.81).

В отличие от социальной истории, сосредоточенной на изучении женщин, культурная история, завоевывающая все более значимое место в русистике, обращается к проблеме возникновения нового стереотипа маскулинности. Русисты обращают особое внимание на радикальные изменения в концепциях патриотизма, гражданства (citizenship), гендера, которые происходили в кризисную для России эпоху начала XX в. Таким образом, война сама по себе далеко не всегда признается ведущей причиной (либо главным катализатором) этих изменений.

Черты «новой маскулинности» фиксируются в работах британской исследовательницы Катрионы Келли. В своей статье (3) она рассмотрела предысторию советской идеи закаливания и обнаружила вполне сложившуюся к началу XX в. культуру тренировки тела и духа, борьбы с ленью, «обломовщиной». Многочисленные руководства и брошюры, предлагавшие гимнастику по системе Мюллера, закаливание водными процедурами и пр., неизменно подчеркивали необходимость физических упражнений для настоящего мужчины и их прямую связь с вырабатыванием силы воли и самоконтроля – качеств также по преимуществу мужских (3, с.134). Культ воспитания воли, считает К.Келли, указывал на полную трансформацию в восприятии мужской чести, что явилось завершающей стадией перехода от «феодальной» социальной идентичности, основанной на рождении, крови и статусе семьи, к индивидуалистической «буржуазной», которая начала утверждаться в эпоху Просвещения. С другой стороны, это течение в культуре России начала XX в. свидетельствовало о рождении «новой маскулинности»,

подчеркивавшей воинские доблести. В этом контексте автор рассматривает изменение статуса дуэли, которая с 1894 г. становится в армии обязательным средством защиты репутации, в том числе по решению офицерских «судов чести». В начале XX в. дуэль в России, в отличие от Германии, приобретает ощутимый привкус демократичности (3, с.138). Как отмечает автор, вырабатывание силы воли, одной из главных характеристик мужественности, единодушно считалось делом крайне важным, поскольку ассоциировалось с формированием новых граждан, которые сумеют преодолеть извечную российскую лень – основную причину отсталости страны (3, с.145).

Возникновение в России начала XX в. «новой маскулинности», носившей военизированные черты, констатируется и американским историком Дж.Санборном (6,7). Тем не менее, он ставит перед собой более широкие задачи и исследует проблемы национально-государственного строительства, основываясь в своей концепции главным образом на категории гендера. Санборн считает Первую мировую войну «поворотным пунктом» в истории России, рассматривая ее в контексте более крупного периода 1905-1925 гг., который характеризовался активной милитаризацией общества, тектоническими сдвигами в конфигурации социальных, национальных и гендерных идентичностей.

Санборн выдвигает идею, что в период между революцией 1905 г. и сталинской «революцией сверху» имела место революция гендерная, направленная не на освобождение женщины, а на освобождение юношей от оков патриархальной власти (6, с.161). Суть ее заключалась в «национализации» маскулинности, когда идеалу мужчины были приданы национальные качества, а главной системной чертой явилось то, что «производство» идеалов мужественности было изъято из рук тех, кто обычно их создавал – церкви, общины, семьи, отдельных выдающихся личностей. Начиная с Первой мировой войны этот процесс перешел в руки институтов массовой пропаганды, образования и, главное, армии (6, с.132-133).

Свои построения автор основывает на том, что метафора семьи имеет огромное значение для единения нации и мобилизации населения. Причем в России, считает он, наиболее могущественным из

институтов, использовавших метафоры родства, была армия. Именно армия, в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны, играла в первой трети XX в. ведущую роль в сплочении нации на новых основах, присущих эпохе модерности. Она являлась в этот период физическим воплощением нации и символическим братством солдат-граждан (6, с.5).

Санборн прослеживает, как царским правительством создавались законы, укреплявшие связь между солдатом-гражданином, его семьей и государством и ставившие во главу угла семейные ценности. Эту политическую линию продолжили затем и большевики, которые позаимствовали у своих предшественников метафору семьи как прототипа нации. В политической риторике большевиков и страна, и армия, и любое воинское подразделение уподоблялись семье, что должно было порождать верность (лояльность), ощущение близости и единства, причем, считает Санборн, эта политика была осознанной (6, с.103).

Семейные ценности, по мнению Санборна, были заложены в систему отношений между гражданином, армией и государством. В подтверждение этого тезиса он приводит закон 1912 г., согласно которому в военное время семьям фронтовиков полагался от государства паек. Указ, по словам автора, обозначил серьезный сдвиг в отношениях между государством и гражданином, показав, что теперь граждане вправе ожидать от государства выполнения определенных обязательств. В годы Первой мировой войны была разработана и система наказаний для солдатских семей – в частности, лишение их пайка – за дезертирство и добровольную сдачу в плен их отцов и сыновей. Это означало, что государственная помощь семьям не являлась более компенсацией за временную потерю кормильца, а становилась вознаграждением за выполнение солдатом своего воинского долга (6, с.105-107).

Семья, таким образом, в интерпретации Санборна, становилась «главной осью» отношений между российским государством и его гражданами в годы Первой мировой войны. Однако конфигурация этого краеугольного камня российской системы ценностей к тому времени значительно изменилась. В начале XX в. на смену

патриархальным семейным символам, в первую очередь фигуре «отца», приходит символ братства, значение которого начали особенно остро осознавать в годы Первой мировой войны, когда стало понятно, что победа зависит в первую очередь от простого солдата (6, с.110-111). В эти годы слово «братство» было у всех на устах, что обозначало, по словам Санборна, начало разрушения традиционных иерархий, основанных на метафоре отцовской власти. Возникшая в военных кругах идея укрепить братские связи между офицерами и солдатами не была реализована при царском режиме, но получила вполне революционный характер, став лозунгом широких масс.

Несколько иначе интерпретирует тему братства Карен Петроне (4), правда, делает это она на других источниках и ставит перед собой иные задачи. Она обращается к одному из важных тропов западноевропейской культуры – мифу о военном мужском братстве офицеров и солдат. К.Петроне отмечает, что в советском дискурсе межвоенного периода он не получил поддержки. Напротив, в культурной памяти России (в том числе и в историографии) огромным влиянием пользовался прямо противоположный троп о классовой ненависти между солдатами и офицерами, которая революционизировала армию. Действительно, по свидетельству К.Петроне, в воспоминаниях о Первой мировой войне почти отсутствуют доброжелательные оценки взаимоотношений солдат и офицеров. Там же, где они встречаются, подчеркивается патернализм этих отношений, в которых главной фигурой выступает «отец-командир». Идее о равенстве, по мнению К.Петроне, в раннем советском дискурсе сопутствовала исключительно сильная классовая составляющая (4, с.).

Этот тезис раскрывается и в монографии Дж.Санборна, который отмечает, что «братство» неизбежно ассоциировалось в годы революции с «равенством». В армии оно было институализировано в форме солдатских комитетов и товарищеских судов, а также в запрещении носить знаки отличия. И хотя с приходом к власти большевиков институциональные формы менялись, идеалы братства и его символические функции не исчезли, а, напротив, расширились: подчеркивалось значение равенства и солидарности всех членов

«рабоче-крестьянской семьи», а затем – и семьи «братских народов». Концепт «братства» был крайне удобен, пишет автор, поскольку в нем всегда можно было найти место для старших и младших братьев. Образ семьи и братства являлся главной «сцепляющей» силой в процессе национально-государственного строительства вплоть до 1930-х годов, когда на первый план начал выходить концепт «дружбы» (6, с.114).

Основой солидарности в армии, считает Санборн, являлись идеалы маскулинности, которые составляли суть характера солдата-гражданина. По его мнению, именно военными в начале XX в. был «запущен процесс нормализации милитаризованной формы маскулинности», которая была тесно связана с концептом нации (6, с.6). Новый идеал мужественности, внедрявшийся в сознание молодежи, удивительно напоминал западноевропейский и служил той же политической цели поддержки нации. Мужчины, принадлежавшие к разным национальностям и классам, могли стремиться к единому идеалу мужественности, и в результате гендерная идентичность оказалась связана с членством в политическом сообществе, дискурсивные определения которого «подпирались» дискурсивными конструкциями гендера. Чтобы стать гражданином, нужно было стать мужчиной, пишет Санборн (6, с.163-164).

Список основных моральных качеств солдата-гражданина включал в себя традиционные честь, дисциплинированность, чувство долга, самопожертвование, храбрость, а также черты, присущие «новому мужчине», родившемуся в огне войн и революций начала XX в.: активность, независимость, инициативность. «Сочетание силы и дисциплинированности, инициативы и сдержанности – отличительные признаки солдата-гражданина, который мог с легкостью перемещаться от заводского станка на фронт и обратно», - пишет Санборн (6, с.206). Его выводы подтверждает Мелисса Стокдейл в своем исследовании революционных трансформаций 1914-1918 гг. Она подчеркивает, что служба своей стране помогала превратить солдат в граждан и в то же время делала их мужчинами. С тех пор, пишет она, мужественность и патриотизм стали неразрывно связанными понятиями (8, с. 81).

Как известно, все страны-участницы Первой мировой войны использовали представления об идеальной мужественности для мобилизации мужчин на борьбу с врагом. В России, в частности, пишет К.Петроне, популяризировался подвиг казака Козьмы Крючкова, убившего в одиночку 11 немцев и получившего первый в этой войне георгиевский крест. Будучи прямым преемником былинных богатырей, бесстрашный казак не вполне соответствовал реалиям современной механизированной войны, в которой решающую роль играла артиллерия, и прямые столкновения с врагом происходили достаточно редко, замечает автор. Она отмечает, что довольно быстро «солдаты по всей Европе обнаружили, что сражения, в которых они думали доказать свою мужественность при помощи героизма, инициативы и храбрости, дегуманизируют и разрушают их» (4, с.77).

И хотя в военные годы существовала тенденция превозносить идеальный тип офицера, способного поднять своих людей в штыковую атаку под шквальным огнем противника, в советском дискурсе, по словам автора, начинает особенно акцентироваться разрушающее воздействие тотальной войны на человека, на его душу и тело, наконец, на его мужественность. Война поставила под вопрос традиционное понятие мужественности. Так, солдаты часто не были в состоянии исполнить «долг мужчины» защищать слабых – напротив, многие вынужденно или добровольно принимали участие в грабежах и насилиях по отношению к мирному населению.

По наблюдениям К.Петроне, в советских текстах вплоть до начала Второй мировой войны отсутствует понятие о применении насилия как очищающем или мужественном акте. В описаниях войны подчеркивались ее ужасы, страдание и горе людей, физическая гибель и моральное разложение, наконец, психические травмы, полученные как солдатами на поле боя, так и мирным населением. Насилие не обязательно сопутствует героизму, скорее оно способно разрушить, а не построить мужскую идентичность, - идея, особенно часто встречающаяся в литературных произведениях. Благополучно соседствует с ней идея о священном долге защищать родину с оружием в руках, что в очередной раз свидетельствует о многозначности дискурса о войне (4, с.291). К.Петроне крайне

пессимистически оценивает усилия по созданию «нового мужчины» в СССР, к чему ее подталкивает сам материал – воспоминания участников Первой мировой войны.

Дж.Санборн предлагает иную интерпретацию этой проблемы. В его монографии особенности военной маскулинности рассматриваются на материале отношения современников к участию женщин в войне, поскольку в основе концепта «нового мужчины» лежал принцип исключения женщин. Новый идеал мужественности, пишет он, был противоположен женскому, так же как и воинская этика (исключение составляло самопожертвование). Различие проводилось в первую очередь между активностью мужчин и пассивностью женщин. Пассивность и сходство с образом Непорочной девы Марии были главными составляющими национальной добродетели, которую должны были демонстрировать сестры милосердия, эти символы женщины на фронте (6, с.162-163). Конечно, реальность разительно отличалась от идеалов, и сестры милосердия (равно как и ходячее мнение о них) далеко не всегда соответствовали тому, чего ожидало от них государство и общество в лице, главным образом, средств массовой пропаганды. Тем не менее, война имела и определенный эмансипаторский эффект.

Война, пишет М.Стокдейл, предоставила возможность обрести полное гражданство тем, кто его не имел. Это касалось и женщин, которые выполняли патриотический долг, жертвуя собой для родины наравне с мужчинами (8, с. 82). Однако женщины обретали членство в политическом сообществе на иных условиях. Как пишет Дж.Санборн, у них был выбор между двумя нелегкими путями. Первый заключался в маскулинизации, и его выбирали те, кто шел на фронт; второй следовал традиционным нормам, подразумевая вхождение в политическое сообщество на основе самопожертвования и выполнения своего долга – рожать и воспитывать солдат. Этот путь не означал равенства, женщины в этом случае служили фоном для деятельности мужчин (6, с.163-164).

Обращение англоязычной русистики к проблеме превращения подданных российского императора в полноценных граждан далеко не случайно. Тема гражданства (и гражданственности) была крайне

актуальна и для российского дискурса начала XX в. В статье Арона Коэна о влиянии прессы и других медиа-средств на психологию детей и подростков в годы Первой мировой войны анализируется не столько само это разрушительное влияние, сколько позиция по этому вопросу педагогов, психологов, журналистов и общественных деятелей. По наблюдениям автора, столь пристальное внимание к этому вопросу, равно как желание защитить детей от разрушающего воздействия войны, характерно именно для России. Во Франции, например, педагоги интересовались главным образом формами пропаганды в школах, а в немногочисленных работах немецких психологов основное внимание уделялось способам трансформации излишней ненависти у детей военного времени в позитивную форму служения своей стране. Автор объясняет эти различия не только особым вниманием российской теории образования к вопросам морали и враждебным отношением интеллигенции к массовой культуре. Скорее, пишет он, дело заключалось в том, что во Франции и Германии перед образованием стояла задача вырастить молодое поколение, которое будет поддерживать существующие институты, в то время как российские общественные деятели и педагоги не приветствовали царизм и стремились создать новую демократическую Россию. По их представлениям, будущих граждан этой новой России следовало оградить от жестокостей войны. Они опасались, что новые этические ценности, вносимые в общество войной, приведут к тому, что насилие, взаимная ненависть и конфронтация, несовместимые с демократией, гуманизмом и сотрудничеством, войдут в обиход у нового поколения, что впоследствии может привести к катастрофе (1, с.45-46).

Тема гражданственности и патриотизма освещается и на малоизученном материале – истории модной индустрии (5). Американский историк Кристина Руэн, рассматривая влияние Первой мировой войны на эту важную отрасль экономики страны, обращается не только к государственным мерам против «засилья иностранцев», которые привели в итоге к полному ее разрушению. Автора интересует такая сфера, как мода, которая обычно ассоциируется исключительно с женщинами. Стереотип женщины как «бездумной потребительницы» в годы Первой мировой войны в России, а особенно в период дебатов о

принятии закона против роскоши в 1916 г., приобретает отчетливо антипатриотический оттенок. Наряду со спекулянтами и всеми, кто наживается на войне, модницы становятся «внутренними врагами» империи, страдающей от нехватки всего самого необходимого и скорбящей по своим погибшим (5, с.233-234). Другой аспект моды, который привлек внимание автора, - ее связь с национальной идентичностью. К.Руэн рассматривает дискуссии о необходимости отказаться от «западной» моды в пользу русского народного костюма, который практиковали в 1910-е годы националистически настроенные женщины высшего общества, и фиксирует возникновение «примиряющих» тенденций. По ее мнению, во многом благодаря заслугам Л.Бакста, создавшего для Русских сезонов в Париже серию костюмов с этническими мотивами, произошла интеграция русской и западной моды. На практике это осуществилось, в частности, в разработке военного обмундирования в «русском стиле», которое после окончания Первой мировой войны использовалось Красной армией (5, с.240-241).

Таким образом, исследования самого разного плана демонстрируют тесную связь между гендером, классом и этничностью. В работе К.Петроне, например, много говорится о жестко иерархическом гендерном дискурсе, который сохранялся и после окончания Первой мировой войны. Автор отмечает, что традиционные дискурсы о низшем положении женщин и нерусских народов продолжали функционировать на лингвистическом уровне и в 1930-е годы, что оказывало воздействие и на социальную реальность. Гендерно- и национально окрашенный дискурс использовался для обозначения иерархичности в обществе, где, однако же, понятие класса играло ведущую роль (4, с.290).

Список литературы

1. Cohen A. J. Flowers of Evil: Mass media, child psychology and the struggle for Russia’s future during the First World War // Children and war: a historical anthology / Ed. by Marten J.A. – N.Y.: New York univ. press, 2002. – P.38-42.

2. Gatrell P. The epic and the domestic: Women and war in Russia, 1914–1917 // Evidence, history, and the Great War: Historians and the impact of 1914-18 / Ed. by Braybon G. – N.Y.: Berghahn books, 2003. – P.198-215.

3. Kelly C. The education of the will: Advice literature, Zakal, and manliness in early-twentieth-century Russia // Russian masculinities in history and culture / Ed. by Clements B.E. et al. – Basingstoke (Hants.); N.Y.: Palgrave, 2002. – P.131-151.

4. Petrone K. The Great War in Russian memory. – Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – XV, 385 p.

5. Ruane C. The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700-1917. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XII, 276 p.

6. Sanborn J. Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905-1925. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – X, 278 p.

7. Sanborn J. Family, fraternity, and nation-building in Russia, 1905-1925 // A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Ed. by Suny R.G., Martin T. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – P.93-110.

8. Stockdale M. "My death for the Motherland is happiness": Women, patriotism, and soldiering in Russia's Great War, 1914–1917 // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 1. – P.78-116.

9. Stoff L. The "Myth of the war experience" and Russian wartime nursing during World War I // Aspasia. – 2012. – Vol.6. – P.96-116.

10. Stoff L. They fought for the motherland: Russia's women soldiers in World War I and the revolution, (1914-1920). – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006. – X, 294 p.

НАГОРНАЯ О.С.

«ДРУГОЙ ВОЕННЫЙ ОПЫТ»: РОССИЙСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ГЕРМАНИИ (1914-1922).

– М.: Новый хронограф, 2010. – 440 с.

(Реферат)

В монографии к.и.н. О.С. Нагорной, написанной на основе большого массива неопубликованных источников, рассматриваются различные аспекты истории русских военнопленных, оказавшихся в немецких лагерях Первой мировой войны. В центре внимания автора – «маленький человек», его опыт и переживания, что позволило обратиться к субъективному измерению военной истории.

В первой главе дается политический аспект исследуемой проблемы: рассматриваются нормы международного права и правительственная политика по отношению к военнопленным в 1914-1921 гг. Отмечая, что в 1900-е годы на ряде международных конференций были сформулированы основные положения по регулированию содержания военнопленных и деятельности нейтральных благотворительных организаций, автор указывает на тот факт, что новый тип военного противостояния сделал невозможной реализацию большинства норм, основанных на традициях XIX в. (с. 96). Причем в отличие от Западного фронта, где подписывались дополнительные соглашения по этим вопросам, на Восточном фронте в результате некомпетентности, инертности и даже враждебного отношения многих ведомств, помощь пленным происходила в условиях правового вакуума и негласных запретов. «Стигма предательства», пишет автор, неизменно, хотя и в разной степени, присутствовала в восприятии военнопленных как царским правительством, так и его преемниками (с. 96–97).

В силу этих обстоятельств, по мнению автора, активизировалась деятельность организованной общественности, однако «разрозненные усилия» благотворительных комитетов не могли радикально исправить ситуацию и облегчить участь русских военнопленных в лагерях Центральных держав. Не удалось, несмотря на поддержку общественности, сделать это и Временному правительству, а в 1918 г. репатриация военнопленных приобрела «не столько гуманитарное, сколько политическое значение», пишет О.С. Нагорная (с. 97).

В книге отмечается, что военнопленные в годы войны и вскоре после ее окончания использовались правительствами как средство давления на противника, а в условиях революционных потрясений стали рассматриваться еще и как «резервуар для революционных и контрреволюционных формирований», наконец, как средство для повышения международного престижа. В Германии и в странах Антанты русские пленные воспринимались как убежденные коммунисты, что, во-первых, привело к их ускоренной репатриации зимой 1917–1918 гг., а во-вторых, явилось препятствием для привлечения их в состав как интервенционных формирований, так и в белое движение. И хотя, как пишет автор, «невозможно говорить о безоговорочном успехе большевистской пропаганды в лагерях, советской стороне удалось с максимальным эффектом использовать вопрос репатриации для реализации своих внешнеполитических задач» (с. 97).

Три последующие главы посвящены характеристике лагеря как института и особого рода социального сообщества. Автор рассматривает «морфологию лагеря», что включает в себя как систему планировки (архитектурную составляющую), так и социальные и ментальные комплексы. Система содержания военнопленных в лагерях создавалась в Германии практически на пустом месте, и потому первые полгода войны исследователи называют «фазой импровизации», когда пленные скученно размещались в палатках, землянках и просто под открытым небом, без должного питания и медицинского обеспечения, что повлекло за собой массовые эпидемии. Весной 1915 г., когда число пленных солдат и офицеров из России достигло 500 тыс. чел., началось строительство основных лагерей, был

установлен минимальный стандарт их содержания – это была краткая «фаза организации». С середины 1915 г. и вплоть до 1922 г. длилась «фаза дифференциации», связанная с возникновением принудительного труда и созданием в добавление к имеющимся 120 лагерям нескольких десятков тысяч рабочих команд (с. 100).

Места содержания пленных в Германии, указывается в книге, разделялись на несколько категорий: лагеря проходные, основные (солдатские и офицерские, причем старшие чины размещались преимущественно в немецких крепостях или пустующих казармах), агитационные, штрафные; рабочие команды подразделялись на сельские, промышленные и прифронтовые. В книге подробно рассматривается лагерный рацион, обеспечение обмундированием, заболеваемость и смертность среди русских пленных. Отмечается, что медицинское обеспечение солдат и офицеров разительно отличалось, как и общие условия содержания. В соответствии с Гаагской конвенцией и по результатам переговоров с русским правительством для пленных офицеров было установлено денежное содержание, что позволяло им покрывать расходы на питание, выписывать из-за границы дефицитные в Германии продукты, заказывать предметы далеко не первой необходимости, оплачивать услуги врачей, вплоть до протезирования зубов.

В то же время размытые формулировки Гаагской конвенции позволяли значительно снизить планку гуманности в обращении с русскими военнопленными, что стимулировалось прежде всего средствами пропаганды, пишет автор. Распространившиеся в предвоенные годы стереотипы о культурной неполноценности восточных соседей в ходе войны дополнились сообщениями об их зверствах, что вело к радикализации как санкционированного, так и произвольного насилия на местах (с. 117–118).

Рассматривая особенности «организованного дисциплинирования», О.С. Нагорная обращается также к системе принудительного труда и отмечает, что в отличие от представителей других национальностей, работавших на обустройстве лагерей лишь с целью поддержания физической формы и дисциплины, русских солдат уже с осени 1914 г. планировалось привлечь к восстановлению

пострадавшей от военных действий Восточной Пруссии. Смена концепций от простого интернирования солдат как средства уменьшения вражеского потенциала к использованию их в качестве рабочей силы совпала в Германии со складыванием военной экономики в 1915 г. (с. 128–129). В конце 1917 г. из 1,2 млн. русских военнопленных 650 тыс. были заняты в сельском хозяйстве и на лесозаготовках, 230 тыс. – в промышленности, 205 тыс. – на предприятиях оккупированных территорий и прифронтовой зоны. Оставшиеся 10% составляли офицеры и нетрудоспособные солдаты. Столь интенсивное использование принудительного труда военнопленных позволило предотвратить голодную катастрофу, разгрузить переполненные лагеря и с лихвой погасить расходы на содержание солдат противника.

Особый род лагерей составляли так называемые «просветительские» или «пропагандистские» лагеря, где в привилегированных условиях содержались русские немцы, поляки, украинцы, представители народов Прибалтики и Кавказа. По представлениям немецкой стороны, нерусские народности, колонизованные и угнетаемые коренными русскими, воевали исключительно по принуждению и, соответственно, были предрасположены к сотрудничеству против России. Сепаратистская агитация в их среде являлась частью политики, нацеленной на обеспечение долгосрочных интересов в послевоенном мире. Значительное влияние на реализацию обширной пропагандистской программы, пишет автор, оказал колониальный дискурс. Восприятие восточноевропейского населения сквозь призму колониальных стереотипов не позволило рассматривать национальные меньшинства в качестве полноценных партнеров и организовать равноправное сотрудничество с ними. Что касается восприятия немецкой агитации самими пленными, то их разнообразные реакции на нее, утверждает автор, скорее свидетельствует о процессе их политизации, нежели о каких-то масштабных успехах пропаганды (с. 184).

В экстремальной ситуации заключения возникал совершенно иной военный опыт, выстраивались свои иерархии, вырабатывались стратегии выживания. Внутри принудительно созданного лагерного

сообщества выделялись привилегированные категории. К официально одобряемым, вознаграждаемым лучшими условиями содержания относились «доверенные лица» комендатур, переводчики, представители национальных меньшинств и корреспонденты агитационных газет, однако жизнь коллаборационистов осложнялась преследованиями со стороны товарищей по лагерю. Неформальную элиту, возникающую в среде самих пленных, составляли лагерные ремесленники, торговцы, врачи, представители самоуправления и творческих профессий. По словам автора, источники не подтверждают тезиса об «идиллии лагерного товарищества», напротив, свидетельствуют о наличии бытовых, национальных и политических конфликтов в исключительно разноплановом сообществе. Контакты между пленными офицерами и солдатами, по данным автора, долгое время сохраняли патерналистский характер, и начали трансформироваться лишь под влиянием политических событий в России, когда классовая риторика все активнее входила в обиход (с. 235).

Большое внимание О.С. Нагорная уделяет так называемому «пространству относительной свободы» в лагере. Как отмечается в книге, лагерное самоуправление возникло по инициативе немецкой стороны, во главе их органов были поставлены врачи и священники, которые старались облегчить положение своих подопечных и организовать лагерный досуг. По определению автора, творческая жизнь, в частности, деятельность любительских театров, оркестров, издание рукописных газет, проведение праздников, являлась особой сферой самоорганизации в лагерях. Это позволяло скрашивать монотонность существования и компенсировало утраченные возможности, в том числе, отсутствие контактов с противоположным полом. Процесс демаскулинизации пленных, о котором много пишут зарубежные исследователи, в наибольшей степени проявлялся в офицерских лагерях, где образ противоположного пола постоянно присутствовал в различных проявлениях лагерной культуры. В солдатских лагерях нехватка общения с женщинами не имела такого значения в условиях голода и необходимости повседневного выживания, а с привлечением пленных к работе в немецких хозяйствах

в какой-то степени и компенсировалась.

С точки зрения автора, Октябрьская революция многое изменила в лагерном быту. После того, как были заключены соглашения между немецким и советским правительствами об облегчении положения русских военнопленных, в комитетах самоуправления священников и врачей сменили солдаты, унтер-офицеры и вольноопределяющиеся, причем компетенция их значительно расширилась. Главным их делом стала организация отправки пленных домой, и важную часть подготовительных мероприятий составляла политическая пропаганда. О.С. Нагорная описывает конфликты комитетов самоуправления с лагерной администрацией, Советским бюро и самими пленными (с. 235–236).

Анализируя поведенческие модели и стратегии приспособления русских пленных в солдатских и офицерских лагерях, в рабочих промышленных и сельских командах, автор выделяет такие их формы, как бегство от действительности, пассивное и активное приспособление, сопротивление, активизировавшееся после окончания войны на Восточном фронте. Особое внимание в книге уделяется языку как «одной из важных составляющих процесса адаптации солдат и офицеров царской армии к ситуации плена». Интенсивному обмену информацией способствовали такие каналы и средства формальной и неформальной коммуникации, как газеты, слухи, письма, фольклор. Всё это предоставляло возможность для переработки переживаний и облегчало восприятие действительности. Иносказания в письменной корреспонденции позволяли обходить цензурные ограничения и доносить информацию до оставшихся в России родственников, а с помощью усвоения специфической формы немецкого языка военнопленные улучшали свое положение и обеспечивали себе более тесные контакты с инокультурным окружением. Использование нового языка советского государства привело к возведению военнопленных в Германии в ранг «революционеров за границей» (с. 330).

Особую роль в лагерной жизни играла религия, и автор фиксирует возникновение под влиянием тесных контактов с представителями других конфессий специфического варианта

«народной религиозности» в условиях плена, где не соблюдались строго церковные ритуалы. Православные военнопленные проявляли приверженность религиозным «образцам толкования» окружающей действительности вплоть до своего возвращения на родину. Только «погружение в советскую действительность и стремление получить привилегии от новой власти привнесли в воспоминания бывших пленных атеистические формулировки», пишет О.С. Нагорная (с. 331).

Оценивая опыт русских военнопленных в Германии, автор указывает на тот факт, что плен явился для многих бывших крестьян «фактором эмансипации». Не только работа на немецких предприятиях, но и различные формы лагерного досуга, контакты с местным населением и пленными союзниками расширяли их кругозор. Они проходили обучение грамоте, новым специальностям, трудовым и бытовым отношениям. Однако усвоенные в плену знания и навыки не всегда приветствовались в Советской России и зачастую мешали бывшим пленным успешно интегрироваться в революционное общество.

По наблюдениям автора, Февральская революция была в основном позитивно воспринята и в солдатской, и в офицерской среде, и только приход к власти большевиков и заключение сепаратного мира разделили массу военнопленных на несколько групп. Большая часть, которую составляли крестьяне, стремилась как можно скорее и любой ценой попасть на родину, чтобы не пропустить раздел земли. Кадровые офицеры старались компенсировать свое военное поражение участием в антибольшевистских формированиях, а часть бывших пленных, опасаясь преследований в России, сумели получить разрешение на пребывание в Германии или переехать в другие европейские страны (с. 332).

Репатриация военнопленных проходила в два этапа, совершенно неравнозначных по своему масштабу. Пик первой волны пришелся на ноябрь 1918 – февраль 1919 гг., причем количество добиравшихся на родину самовольно в несколько раз превышало прибывавших организованным порядком и исчислялось сотнями тысяч. Вторая волна репатриации наблюдалась в 1920-1921 гг., однако речь в данном случае шла уже сотнях бывших военнопленных (с. 334). Указывая на

неподготовленность государственных институтов к передвижению больших масс людей, автор отмечает, что опыт регулирования крупных потоков способствовал складыванию основ советской миграционной политики. Ее типичными чертами стали «политическая фильтрация, стигматизация подозрительных элементов, массированная пропаганда и ориентация на использование доступных трудовых ресурсов в интересах государства» (с. 392).

Что касается социальной политики по отношению к ветеранам и инвалидам Первой мировой войны, то здесь всё внимание государства было перенесено на ветеранов Гражданской войны, а в условиях скудных ресурсов того времени и с учетом стремления большевиков подчинить дело социального призрения классовой парадигме автор считает возможным говорить о полном провале. Бывшие заключенные «буржуазных» лагерей, пишет О.С. Нагорная, оставались опасным контингентом, и с началом эпохи террора были автоматически причислены к враждебным государству группам (с. 399).

О.В. Большакова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗЕМЛЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Сводный реферат)

1. МОНДЗИК М. ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

MĄDZIK M. Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej. – Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 239 s.

2. КОЖЕНЁВСКИЙ М. РЕЛИГИОЗНАЯ ПОМОЩЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО КОМИТЕТА В БЕЛОРУССИИ В 1915–1918 ГГ.

KORZENIOWSKI M. Pomoc religijna Centralnego Komitetu Obywatelskiego na Białorusi w latach 1915–1918 // Peregrinatio ad veritatem: Studia ofiarowane prof. A. Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej. – Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 2004. – S. 223–237.

3. СЫНОВЕЦ А. КНЯЖЕСКО-ЕПИСКОПСКИЙ КОМИТЕТ ЕПИСКОПА АДАМА СТЕФАНА САПЕГИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

SYNOWIEC A. Książeco-Biskupi Komitet biskupa Adama Stefana Sapiehy w czasie I wojny światowej // Prace historyczne. – Kraków, 2003. – Z. 130. – S. 183–202.

В реферате представлены исследования польских историков, посвященные созданию и деятельности польских гуманитарных организаций в годы Первой мировой войны в пределах Российской империи – в Белоруссии, на Украине, в европейской части России, Сибири и других регионах. Речь идет об оказании разносторонней помощи лицам польской национальности католического вероисповедания, пострадавшим во время военных кампаний.

В книге М. Мондзика, сотрудника Люблинского университета им. М. Склодовской-Кюри (1), написанной на основе широкого круга источников, рассматривается деятельность Польского общества помощи жертвам войны в России в 1914–1918 гг.

Монография состоит из введения, шести разделов, заключения, библиографического списка и приложений. В первом разделе говорится о создании Польского общества помощи жертвам войны, которое было образовано в августе 1914 г. в Петрограде под воздействием информации о военных действиях на польских землях, взбудоражившей местную польскую общину. Всё началось со сбора денежных средств для пострадавших, организованного газетой «Польский голос». Созданию общества способствовала также либеральная политика российских властей в отношении польской диаспоры. Автор добавляет, что в то время через Петроград в Царство Польское и Литву вернулись 1500 поляков, получивших материальную помощь от местной общины, польских организаций и газет, таких, как «Петроградский ежедневник» (1, с. 13).

Польское общество помощи жертвам войны было организовано по инициативе Хенрыка Сьвенчицкого, Болеслава Ольшановского и Ремигиуша Квятковского – известных и уважаемых петроградцев польского происхождения. В конце августа 1914 г. в здании «Польского голоса» состоялось его первое заседание. Цель Общества была сформулирована как «оказание помощи и поддержки косвенным и прямым жертвам войны» (1, с. 14). Особую роль в его деятельности играл Отдел Главного комитета, занимавшийся поляками, имевшими иностранное подданство. К этой категории относились также польские военнопленные и поляки, вывезенные из Царства Польского, которых называли «гражданскими пленными» (1, с. 32).

Польское общество помощи жертвам войны должно было действовать на территории всей Российской империи. Во втором разделе рассматривается создание и работа его отделений в Белоруссии, на Украине, в европейской части России, Сибири и других регионах. Первые отделения были созданы в сентябре 1914 г. в Одессе, Риге, Екатеринославе, Минске и Кишиневе. Переломным моментом в организации помощи полякам стало лето 1915 г., когда российские войска потерпели поражения в Царстве Польском и Восточной Галиции, вследствие чего началась массовая эвакуация поляков вглубь страны. Необходимо было обеспечить всех беженцев материальной помощью, создать новые отделения Общества на местах. Если в июле 1915 г. на территории Российской империи действовало 131 отделение, то к декабрю того же года было создано еще 65 отделений, а к ноябрю 1916 г. организация насчитывала уже 247 отделений (1, с. 37–38).

Больше всего отделений было открыто на Украине. В Москве и Московской губернии отделения Общества не создавались, поскольку там действовала самостоятельная организация – Польский комитет помощи жертвам войны под руководством Александра Ледницкого. На Кавказе основные структуры Общества помощи жертвам войны появились в 1915 г. в связи с большим наплывом беженцев. Что касается Сибири, то первые отделения начали появляться там еще в 1914 г. (в Барнауле, Чите, Хабаровске, Кургане, Омске, Тобольске, Иркутске) по инициативе местных поляков из среды интеллигенции. В результате под опекой структур Общества оказались сотни тысяч беженцев. В конце 1916 г. «количество поляков-изгнанников, осевших в 221 населенном пункте, равнялось 402 062» (1, с. 75).

Третий раздел посвящен финансам Общества. Оно не располагало значительными средствами. Согласно Статуту, его фонды должны были формироваться за счет членских взносов, пожертвований, наследственных поступлений, доходов от проведения различных мероприятий – концертов, танцевальных вечеров, публичных лекций и т. д. (1, с. 77). Члены организации, помимо разового взноса при вступлении в нее, обязаны были выплачивать 6 руб. ежегодно. Финансовые средства считались собственностью общества, значительная их часть находилась в Петрограде – в кассах

руководства. Кассы отделений должны были ежеквартально направлять в центр свои финансовые отчеты. Подобная схема получения средств действовала на протяжении всей войны. Однако в целом финансовое положение Общества на всем протяжении его деятельности оставляло желать лучшего, а в июле 1918 г. советские власти «приняли решение о ликвидации польских гуманитарных организаций» (1, с. 95).

В четвертом разделе анализируются различные виды помощи беженцам – жилищная помощь, помощь продовольствием, одеждой, медицинская помощь, опека над детьми и т. п. Огромное внимание Общество уделяло жилищной помощи переселенцам. На начальном этапе войны, пока их было немного, для них снимали частное жилье. Так было, например, в Киеве и Казани. Но наплыв беженцев после лета 1915 г. вынудил польские организации создавать приюты. Осенью 1915 г. в 167 таких приютах было размещено свыше 10 000 поляков. Однако, как отмечает автор, приюты «не получили хороших отзывов у беженцев; в них царил разлад, не было опеки и медицинской помощи» (1, с. 100).

Продовольственная помощь начала оказываться беженцам еще в процессе эвакуации. Тогда было создано несколько десятков пунктов горячего питания. От Общества помощи жертвам войны эту работу выполнял санитарно-продуктовый сектор, который располагал 15 продовольственными пунктами, 6 точками раздачи питания, 7 складами, 12 магазинами и 2 пекарнями (1, с. 105).

Серьезной проблемой для большинства беженцев осенью 1915 и зимой 1916 г. оказалось отсутствие теплой одежды. В процессе эвакуации у них изъяли «лишнюю» одежду, белье и обувь. В связи с этим польские гуманитарные организации провели масштабную акцию по сбору одежды и обуви для переселенцев. Им оказывалась и помощь деньгами. В частности, отделение Общества помощи жертвам войны в Риге летом 1915 г. раздало 4000 руб. в качестве материальной помощи (1, с. 109).

Организация медицинской помощи также была важна: беженцы болели холерой и брюшным тифом, а их дети – оспой и скарлатиной. Чрезвычайно высокой была смертность. В некоторых приютах и

бараках не было ни белья, ни лекарств, ни воды, особенно в Средней Азии. Весной 1916 г. Общество помощи жертвам войны располагало 2 госпиталями и 13 амбулаториями, 3 т. н. домами здоровья, 2 пунктами скорой помощи и изолятором (1, с. 113). Открытие столь небольшого количества медицинских учреждений было связано с тем, что у польских организаций на эту цель было относительно немного средств (1, с. 114).

Кроме того, польские гуманитарные организации уделяли большое внимание опеке над детьми и молодежью. Они оказывали молодым не только материальную поддержку, но и проводили широкую воспитательную и образовательную работу. Данный вид помощи был важен еще и потому, что дети и молодежь составляли большую часть беженцев. В частности, по данным на март 1916 г., только дети в возрасте до 16 лет составляли 41% всех переселенцев (1, с. 115).

Пятый раздел посвящен деятельности Общества в 1917–1918 гг., влиянию на его работу Февральской революции, а также его положению после прихода к власти большевиков. В первые месяцы 1917 г. переселенцы выражали пожелание подчинить деятельность гуманитарных организаций более широкому контролю и даже передать их в руки представителей польских беженцев, избранных демократическим путем. Кроме того, в руководстве Общества встречались представители радикальных организаций, таких как рабочий клуб «Луч», который под прикрытием культурных мероприятий позволял свободно собираться деятелям революционной фракции Польской социалистической партии (ППС), ППС-левицы и др. В структуре Общества также произошли некоторые изменения. В частности, в апреле 1917 г. Главный комитет выделил 10 мест для представителей польских беженцев. В 1917 г. активно обсуждался вопрос о возрождении Польши, поэтому перед гуманитарными организациями встала задача перемещения огромных масс беженцев на родину. Однако ни одна из них не была в состоянии справиться с этой задачей самостоятельно.

После Октябрьской революции Общество, используя постановление о свободной деятельности союзов и товариществ,

рассчитывало на «полную независимость» (1, с. 143). Собранные ранее финансовые средства оставались в его собственности. На практике же его финансовое положение ухудшалось с каждым днем, а новые власти страны отказали ему в материальной поддержке. Так, например, из Полтавы в центр постоянно приходили просьбы выслать «несколько рублей»; там не хватало всего, даже мыла и денег на закупку местных газет для беженцев (1, с. 144). Возрождение Польского государства в ноябре 1918 г. означало конец отношений с Москвой и ставило под вопрос дальнейшее существование Общества. Что касается репатриации поляков, проводимой различными польскими организациями, то она завершилась лишь в 1924 г. (1, с. 156).

В шестом разделе рассматриваются отношения Общества помощи жертвам войны и других польских гуманитарных организаций в России. Поляки-беженцы получали помощь также от Центрального гражданского комитета, Польского комитета в Москве и др. Их взаимодействие не всегда проходило гладко. Имели место, в частности, конфликты между Польским обществом помощи жертвам войны и Центральным гражданским комитетом. На первый взгляд их интересы были четко разделены: Общество занималось беженцами в городах, а Комитет – в деревне. Однако трения всё равно возникали, главным образом из-за амбиций местных деятелей, стремившихся к полному контролю над определенной территорией. Возмущение вызвали, в частности, действия В. Горчиньского из Центрального гражданского комитета, который 15 января 1916 г. прибыл в Новороссийск и сам начал регистрировать беженцев. На слова о том, что переселенцы уже получают необходимую помощь от Общества помощи жертвам войны, он ответил, что не признает никаких польских организаций, кроме своего комитета. Для завоевания симпатий соотечественников В. Горчиньский использовал порой весьма сомнительные методы, включая подкуп.

В заключении М. Мондзик оценивает деятельность Польского общества помощи жертвам войны как позитивную. «Благодаря активности тысяч членов и деятелей организации, – пишет автор, – сотни тысяч поляков-изгнанников пережили трудный период Великой войны на чужой земле, а потом могли рассчитывать на возвращение в

родные края» (1, с. 189).

Статья адъюнкта Института истории Люблинского университета им. М. Склодовской-Кюри, канд. ист. наук М. Коженёвского (2), написанная на основе материалов из Архива новых актов, опубликованных документов и периодики времен Первой мировой войны, посвящена работе Центрального гражданского комитета с польскими беженцами в Белоруссии. Автор пишет, что для жителей Царства Польского Первая мировая война стала периодом «принудительного пребывания» в пределах Российского государства (2, с. 223). С середины 1915 г. беженцам помогали польские гуманитарные организации. Помощь оказывалась и в ходе эвакуации, и в местах временного пребывания поляков. Значимую роль в опеке над пострадавшими сыграл Центральный гражданский комитет Царства Польского, созданный 24 августа 1915 г. Не ограничиваясь одной лишь материальной помощью жертвам войны, он поддерживал и религиозную жизнь поляков. В ноябре 1915 г. Комитет создал т. н. Западный район (или Западную исполнительную комиссию – ЗИК), который занялся польскими беженцами, разместившимися в Минской и южной части Могилевской губернии, а также охватывал Черниговскую, Смоленскую и Орловскую губернии. Данный район не был единственным, однако уже в конце 1916 г. районы были ликвидированы, их функции переходили к Комитету.

Руководство Комитета было убеждено в том, что пропаганда христианских ценностей будет препятствовать деморализации переселенцев, которая «проявлялась в росте воровства, проституции и т. д.» (2, с. 224). Кроме того, подобная помощь должна была усилить веру сотен тысяч поляков в возможность возвращения на родину. Комитет рассматривал свою деятельность также «как фактор, усиливающий национальное самосознание польских беженцев» (там же).

Организации духовной помощи благоприятствовал тот факт, что в Белоруссии Католическая церковь имела достаточно многочисленную паству и стабильную сеть приходов, а значит, и постоянное количество ксёндзов, которые были и среди самих беженцев (2, с. 237). Поляки в большинстве своем с радостью

принимали религиозную помощь, тем более что значительную часть беженцев составляли глубоко верующие крестьяне. В середине 1915 г. помощь переселенцам в Белоруссии оказывал 21 ксёндз, а в конце 1916 г. их было уже 39 (2, с. 235–236).

Тем не менее в письмах к российским властям Комитет не раз указывал на то, что не все беженцы-католики в состоянии соблюдать обряды из-за нехватки священнослужителей. Однако инициативы по улучшению положения ксёндзов вызывали недовольство Петрограда. Руководство Комитета обвиняли «в использовании… слишком больших финансовых средств» на содержание капелланов (2, с. 226). Ситуацию осложняла позиция местной администрации, православного большинства и иерархов Католической церкви. Однако, как полагает автор, Центральный гражданский комитет, несмотря на трудности, достиг своей главной цели, обеспечив польским католикам «возможность практиковать исповедуемую религию» (там же).

Статья А. Сыновца из Ягеллонского университета в Кракове (3), написанная на основе неопубликованных материалов из Архива Краковской курии и периодики 1914–1939 гг., посвящена работе Княжеско-епископского комитета А.С. Сапеги с краковскими беженцами. Вскоре после начала Первой мировой войны, 11 августа 1914 г., Адам Стефан Сапега – князь и краковский епископ – направил воззвание к польскому духовенству по вопросу о создании гминных комитетов, которые призваны были взаимодействовать в деле помощи тем, кого коснулась война. Епископ выразил пожелание, чтобы подобные комитеты создавались при каждом приходе, координировали работу на селе, опекали больных, немощных и сирот. Дальнейшие его шаги «были продиктованы ситуацией на фронте и распоряжением властей» (3, с. 183).

14 сентября в связи с наступлением российских войск в Галиции было принято решение об эвакуации населения из Кракова, а позднее – из близлежащих гмин. Эвакуация должна была носить добровольный характер, вследствие чего не принесла ожидаемых результатов. Поэтому 7 ноября была объявлена принудительная эвакуация, и к середине месяца население Кракова сократилось на треть. Однако А.С. Сапега издал распоряжение для местных священнослужителей,

призывавшее их не оставлять своих приходов на период военных действий, а после начала эвакуации настаивал на том, чтобы ксёндзы опекали эвакуированную паству. А.С. Сапега интересовался судьбами выселенных поляков, лично приходил на железнодорожный вокзал в Кракове и «беседовал с группами беженцев, утешал их, старался организовать пункты горячего питания» (3, с. 184).

15 декабря 1914 г. он призвал к сбору церковных пожертвований для населения, которого коснулась война, особенно для его беднейших слоев, оставшихся без средств к существованию, а 25 декабря обратился с воззванием к соотечественникам и другим народам, прося помощи для жертв войны на польских землях, для восстановления страны. Воззвание было опубликовано не только в польских, но и в зарубежных газетах, таких как «L'Osservatore Romano», «Kölnische Volkszeitung», «Reichpost», «Slovenec», в ряде американских изданий. Копии воззвания были направлены папе римскому Бенедикту XV и «польскому духовенству в Америке, а через него – местной польской общине» (3, с. 185).

В январе 1915 г. по инициативе епископа был создан Комитет помощи жертвам войны. А.С. Сапега обратился прежде всего к представителям аристократии и профессуры, которые могли оказать ему поддержку4, используя своё положение. В состав комитета вошли архиепископ Францишек Альбин Сымон, ксёндзы Марцелий Сьлепицкий и Чеслав Вондольный, ректор Ягеллонского университета Казимир Костанецкий и профессора Эмиль Годлевский-старший, Стефан Ентыс Казимир Моравский и Болеслав Улановский, представители аристократии Витольд Чарторыйский и Витольд Сапега (брат Адама Сапеги) и др. Княжеско-епископский комитет пользовался финансовой поддержкой польских и других зарубежных организаций из Швейцарии, скандинавских стран и США, а также папской помощью из Ватикана. Созданные им фонды позволили оказывать польским беженцам разностороннюю помощь – продуктами питания, одеждой и обувью, финансирование различных учреждений и предприятий, поддерживавших переселенцев, и т. п. Фабрики и заводы, находившиеся под патронатом Комитета, предоставили рабочие места значительному количеству женщин, которые «благодаря

этой работе могли спасти себя и своих детей от голода и нужды» (3, с. 200). Деятельность Комитета не ограничивалась пределами Галиции и охватывала также Царство Польское и некоторые места переселения поляков. Помощь, организованная А.С. Сапегой, «зачастую была единственным источником поддержки для потерпевших и осиротевших» (3, с. 201).

О. В. Бабенко

ЗУМПФ А.
АМПУТИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО: ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКИХ ИНВАЛИДОВ С ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ, 1914–1929.

SUMPF A.
UNE SOCIÉTÉ AMPUTÉE: LES RETOURS
DES INVALIDES RUSSES DE LA GRANDE GUERRE, 1914-1929.
// Cahiers du monde russe, – P., 2010. – N 1. – Vol. 51. – P. 35-64
(Реферат)

Статья Александра Зумпфа (ун-т Страсбурга) посвящена положению и судьбе воинов-инвалидов Первой мировой войны. В исследовании использованы документы из российских архивов (ГАРФ, РГИА, РГВИА), а также материалы периодических изданий 1910–1920-х годов. Автор рассматривает различные виды инвалидности (труда и войны, двух войн – Первой мировой и Гражданской, физической/видимой и психической/невидимой). Он обращает внимание на поляризацию российского пространства (город и деревня, национальные различия), а также исследует деятельность заинтересованных институтов, групп, организаций, которые оказались связанными с инвалидами войны.

В России инвалиды, вернувшиеся с фронтов Великой войны, которая сразу после Октября 1917 г. перешла в Гражданскую войну, оказались за кадром. Революционная нация отныне начинала бороться за права женщин и детей, требовали решения острые и взаимосвязанные социальные вопросы: проституция и толпы

оказавшихся на улице беспризорников. Социальные программы лишь в малой степени были направлены на решение проблем военных инвалидов. «Изучение вопроса возвращения инвалидов Великой войны, – пишет автор, – позволяет понять уровень социальной и политической составляющих перехода от войны к миру, разрушений и восстановлений, военной демобилизации и культурной сверхмобилизации (surmobilisation), когда память при желании забыть начинает действовать избирательно. Этот анализ позволяет сравнить длительные процессы русской истории и изменяющееся пространство послевоенной Европы» (с. 36).

Было бы ошибкой предполагать, что в России власти при обоих режимах уделяли инвалидам такое же внимание, как в Западной или Центральной Европе, – это касается и форм мобилизации и возвращения с фронта, их политической ангажированности и социальных условий. Однако, если методы мобилизации, её объекты и виды сходны с тем, что наблюдалось в других европейских странах, то результаты и последствия объясняются причинами, лежащими в сфере национальной истории. «Нижние чины» в России никогда не считались за людей – ни имперскими властями, мечтавшими о «священном союзе» всех наций и сословий, ни военачальниками, рассчитывавшими лишь на жертвенность масс, ни даже представителями гражданских организаций, продолжавших мыслить в тех же категориях. Поэтому стать инвалидом войны означало прежде всего погружение в среду других ветеранов, что лишь препятствовало возвращению к нормальной жизни. Однако озабоченность своим будущим людей, вернувшихся с фронта, несмотря на социальные программы и наличие международного опыта, глубина разочарований и демократический корпоративизм, свойственные среде инвалидов, не вылились ни в какое движение, подобно тому, как это произошло во Франции, Германии или Югославии. Причиной этого, считает автор, стала, возможно, политика большевиков, монополизировавших как общественное мнение, так и социальное движение в стране.

Сегодня достаточно затруднительно с точностью определить число мобилизованных в России между 1914 и 1918 гг., сколько из них сражалось, сколько попало в плен, сколько погибло. Данные,

предоставленные Комиссией по обследованию санитарных последствий войны, сильно рознятся с данными, имеющимися в архивах, при этом расхождения могут быть в десятки, а то и в сотни тысяч. Следует учитывать, что со временем статус потерпевших мог меняться – «пропавшие» могли оказаться «пленными», «ранеными» или «убитыми», что в свою очередь лишь осложняло положение ветеранов.

Инвалидами считались как раненые, так и больные. При этом если больные туберкулёзом, чаще всего из числа военнопленных (650 тыс. только в одной Германии) признавались инвалидами, то такие вещи, как патологии, связанные с крайней усталостью или плохим питанием, вообще не рассматривались. В исследовании, вышедшем в Париже в 1939 г., число инвалидов округлено, называется цифра в 700 тыс. человек, однако если учитывать процентный состав раненых (25,2%) и больных (14,9%), эвакуированных Петроградским Союзом российских городов, то число это следует корректировать – 890 345 инвалидов (с. 38). Данные Москвы, отмечает автор, часто превосходили данные, приходившие из Петрограда. Структуры Земгора[13] занимались распределением раненых в зависимости от вместительности госпиталей, распределяя по территориальному признаку между двумя столицами и губернскими центрами, крупными городами и санитарными учреждениями. Если говорить о тяжести полученных ран и увечий, то самыми тяжелыми оказывались поражения психики при отсутствии открытых ран, для таких инвалидов не находилось никакой помощи, единственным исходом для них оставался дом призрения.

Неопределённость статуса самих инвалидов зависела от уровня научных знаний, от степени ответственности властей и от специфики полученных травм. Между тем неточность статистики успешно возмещалась исследованиями в области психиатрической науки в

[13] Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов) – созданная в Российской империи в 1915 г. на базе земств и городских дум посредническая структура по распределению государственных оборонных заказов. В России осуществляла свою деятельность до 1918 г.

России и за рубежом. Так, обсуждая роль войны – усиливает ли она уже существующую болезнь, либо является причиной возникшей патологии – известный психиатр С.А. Преображенский отмечал, что именно артиллерия способствует появлению, массовому распространению специфических форм неврозов, которые изучались в Центральном госпитале для душевнобольных Петроградского Комитета Союза российских городов. В 1924 г. тот же Преображенский насчитывал 1,8 млн. инвалидов двух войн, 80% которых ещё страдали от невроза или контузии (идиотизм, потеря памяти или слуха), или даже от психических болезней – как прямое следствие войны.

Организации, которые пытались привлечь внимание русской общественности к специфическим проблемам инвалидов, оставались в арьергарде, в то время как война продолжалась. Солдат, возвращавшихся с фронта, сразу же стали подвергать различным формам допросов, во время которых военная разведка собирала информацию об экономическом положении противника. Больные, раненые и инвалиды испытывали при этом такое давление, что в феврале 1917 г. ЦК Союза офицеров и солдат, бежавших из лагеря, потребовали ограничений при допросах: четыре дня – для рядовых и неделя – для офицеров.

Тыл не очень представлял себе, с чем приходится сталкиваться солдату на фронте. Характерно, отмечает автор, что письма сестёр милосердия вызывали больше жалости и сочувствия, чем рассказы, появлявшиеся в газетах и журналах, в которых расписывалось героическое самопожертвование безвестных героев, а также варварство врага, изображённого в карикатурном и искажённом виде. В качестве примера подобной литературы, выходившей в годы войны, автор приводит брошюру некоего анонима, вышедшую под названием «Калека, не сдавайся! Мысли и наблюдения однорукого» – откровения некоего человека, в 17 лет потерявшего руку в результате несчастного случая на охоте. Опубликованная в 1916 г. с предисловием знаменитого профессора В.М. Бехтерева, она предназначалась для того, чтобы поднять дух людей, получивших серьёзные увечья, вдохновив их на возвращение к активной жизни, жизни в обществе.

Автор брошюры утверждал, что именно оптимизм может помочь решить все проблемы, позволяя избежать позорного имени «калеки». Во второй части книги давались образцы гимнастических упражнений с призывами улучшать своё здоровье, самим решать свою судьбу, действуя во благо Отечества. Подобные темы и выражения, которые больше подходили для обществ трезвости либо ассоциаций по народному образованию довоенного образца, лишь подчёркивали разрыв между тем, что испытывали солдаты на фронте, и восприятием войны в тылу.

Человек, столкнувшийся с ужасами войны, доселе немыслимыми – ещё одна тема, новая для российского общества. В 1916 г. вышла книга «Зверства противника в очерках и фотографиях», подготовленная комитетом Скобелева. Прославившийся своей горячей поддержкой Временного правительства, этот комитет не колеблясь продемонстрировал, с холодной отстранённостью, «воздействие современного оружия на бренную плоть воина», особенно не задаваясь вопросом о том, что можно показывать, в том числе инвалидам, а что нет, что благовидно, а что нет. В сентябре 1916 г. полковник Ерошевич, глава киносекции комиссии по военной цензуре Петрограда, предложил запретить демонстрацию фильма студии Дранкова «Забота комитета о раненых и увечных воинах, вернувшихся с фронта и из плена», в котором в течение 1,5 часов показывали калек с момента их ранения – медицинская помощь, получение протеза, использование его в повседневной жизни – до встречи с попечительницей комитета вел. кн. Марией Павловной. Ерошевич утверждал, что «фильм оставляет очень тяжелое впечатление и угрожает подорвать моральный дух общества, что нежелательно в ожидании новой мобилизации. Кроме того, представляется маловероятным, что фильм поднимет настроение солдат в случае их отправки на фронт» (с. 43).

В 1916 г. земские специалисты выделяли 1,3% раненых, получивших полную инвалидность, 20,9% сохраняли частично трудоспособность и 32% полностью выздоравливали (с. 44). Из 13 млн. сражавшихся на фронтах 170 тыс. стали полными инвалидами, 2,6 млн. – частичными. По другим данным, это число колеблется от 700 тыс. до 1,9 млн. К такому потоку раненых, больных и инвалидов

Россия не была готова, приходилось прямо на месте приспосабливаться к новым обстоятельствам, изобретать новые меры, основываясь на правовых нормах, созданных после русско-японской войны. Выделялись группы инвалидности и соответствующие им размеры пенсии. По закону, принятому ещё летом 1912 г., существовало 5 групп инвалидности, а в июне 1917 г. на I Всероссийском съезде делегатов увечных воинов по согласованию с министром государственного призрения было выделено уже 8 категорий инвалидности.

Пришедшее к власти в феврале 1917 г. Временное правительство оказалось не в состоянии радикально изменить размер сумм и количество взятых под опеку людей, и так оказавшихся тяжёлым бременем для бюджета страны. Однако, стараясь сразу же порвать с прежней практикой царского правительства, власть пыталась теперь опереться на местные организации, входившие в структуры Земгора. Так, одновременно с «Союзом инвалидов, вернувшихся и возвращённых из плена» был основан межминистерский Комитет помощи увечным воинам (29 июня 1917 г.), половину членов которого составляли инвалиды. Однако Комитет не успел развернуть свою деятельность в связи со случившейся Октябрьской революцией. При этом местные комитеты продолжали свою работу относительно свободно и эффективно, а падение центральной власти способствовало развитию органов местного самоуправления, когда вся страна распалась на автономные округа, достаточно изолированные друг от друга.

В июне 1918 г. в структуре Наркомата государственного призрения появляется сектор поддержки инвалидов, сразу же получивший содействие Союза инвалидов. Однако в условиях Гражданской войны эта организация оказалась простой вывеской. Основанный по указу ВЦИК 29 октября 1919 г. Всерокомпом (Всероссийский комитет помощи больным) под руководством Н. Седовой смог начать свою работу лишь в августе 1924 г., при этом, как и во всех социальных и культурных областях, инициатива передавалась местным организациям.

Автор приводит данные о том, что по окончании войны 11,9%

русских военнопленных были в той или иной степени инвалидами, причем каждый 5-й был болен туберкулёзом (с. 50). В конце 1917 г. Генеральный штаб сообщал о нетрудоспособности примерно 10% военнопленных в Германии (115 тыс.), хотя в целом речь могла идти о 200 тыс., если учитывать репатриированных до 1915 г. (там же).

Посредничество в решении проблем инвалидов взяли на себя международные организации, причём споры и дискуссии стали своего рода прологом решений, принятых в Брест-Литовске. Первые переговоры о судьбе военнопленных начались в июле 1915 г., при этом немцы предложили эквивалентный обмен. Однако поскольку у немцев было совсем мало солдат в русском плену и ещё меньше офицеров, такой обмен, слишком выгодный для немецкой стороны, вызвал полное неприятие у русских. В это время группы инвалидов уже направлялись небольшими партиями в Россию, однако зашедшие в тупик переговоры сдерживали этот процесс. Кроме того, немцы старались сыграть на быстрой девальвации рубля, требуя оплаты питания и одежды для многочисленных русских военнопленных.

Основной поток освобождённых военнопленных пошёл после подписания мира в марте 1918 г. Символом их возвращения стала белорусская станция Орша, первый железнодорожный узел на пути к Москве. Здесь дороги были забиты сотнями вагонов, в которых инвалиды возвращались из плена, здесь же шла проверка документов, регистрация. В Орше, как и в Смоленске, через который проходило до 30 тыс. пленных в день, свирепствовали тиф и испанка, царил голод, а при отсутствии должной помощи и ухода это для многих означало неминуемый конец.

Между тем пленные должны были заполнять довольно подробные анкеты, в которых в том числе необходимо было указать, как человек попал в плен и каковы были условия его содержания. Земские и муниципальные службы, которые занимались этими опросами, после апреля 1918 г. были преобразованы в Центропленбеж, который занялся более подробными опросами. Появилось три вида формуляров разных цветов (А – белый, Б – жёлтый и В – розовый). Первый содержал опрос военного и экономического характера, второй – касался содержания в лагере, третий, самый неожиданный, по

замечанию автора, содержал вопросы о случаях героизма или предательства среди товарищей по лагерю.

Российское государство традиционно испытывало трудности в оказании помощи ветеранам войн, а в советское время к этому добавилась идеологическая составляющая. Всерокомпом, чья местная сеть находилась под угрозой закрытия при переходе к нэпу, в 1924 г. был разделён на несколько организаций. Этот процесс сопровождался рядом агитационных кампаний, организованных в 1923 г. – две из них, проведённые в день Красной армии и 1 Мая, остались незамеченными, а в ходе третьей кампании – Неделя помощи инвалидам – была собрана весьма значительная сумма в 11 млн. руб. По данным этого года, концерты и другие благотворительные акции приносили лишь 492 977 руб., образовательная деятельность 4 153 588 руб., продажа продукции инвалидных мастерских 9 632 056 руб., Красная армия добавляла 3 109 982 руб. (11% дохода) (с. 58). Привлекая Всероссийский союз производства и потребления инвалидов и Всероссийский союз инвалидных кооперативов, Всерокомпом мог предложить более разнообразную помощь: пенсии, санатории, специализированный уход, мастерские (например, картонажные мастерские). Здесь люди могли проявить свои возможности, как-то реализоваться, однако получали при этом от 25 до 50% зарплаты. Впрочем, соображения самофинансирования и рентабельности заставляли Всерокомпом использовать на своих предприятиях в основном труд здоровых людей.

По статистике Земгора, в 1918 г. 60,4% общего числа инвалидов составляли крестьяне и 17,1% – рабочие, однако к 1924 г. число инвалидов войны составляло 1 млн. в деревне и 250 тыс. в городах (с. 58) – таким образом, Гражданская война оказалась более «сельской». В том же году 160 тыс. получали пенсию, 40 тыс. работали в кооперативах, 40 тыс. – в учреждениях, связанных с Наркомсобесом, 3 тыс. учились в высших учебных заведениях (с. 58–59).

Положение инвалидов было законодательно оформлено новой властью только в октябре 1918 г. Несмотря на обещания, они тут же были разделены на тех, кто был в плену и кто не был, кто работал на немцев. Здесь ветераны Великой войны столкнулись с практическими

последствиями Гражданской войны, почувствовав дискриминацию в сравнении с «солдатами Красной армии». Военнопленные инвалиды, возвращённые в первую очередь до мая 1917 г., получали свои компенсации с большими задержками, был объявлен новый предел выплат в 1500 руб., а бывшие в плену с 1914 и 1915 гг. потеряли свои выплаты за эти годы. Кроме того, суммы выплат красноармейцам были выше выплат ветеранам мировой войны: 250 руб. вместо 178 руб. (100% инвалиды), 175 против 108 (70%), 100 против 60 (40%). Это в свою очередь укрепляло внедряемое большевиками в сознание людей противопоставление империалистической войны и войны гражданской: первая – бессмысленные жертвы, вторая – законная борьба.

Мероприятия, проводимые государством по поддержке инвалидов – привлечение к неквалифицированному труду, привилегии на бирже труда – либо были малоэффективны, либо не реализовались вовсе. За годы Гражданской войны к неконтролируемому потоку из лагерей и с фронтов добавился развал организаций, занимавшихся лечением жертв войны – особенно тех, которые существовали в системе Земгора. Несостоявшаяся демобилизация царской армии, сопровождавшаяся двумя всплесками возврата военнопленных из лагерей (ноябрь 1918 – февраль 1919 гг. и 1920–1921 гг.) усугубили организационную беспомощность местных властей, которые сами стали жертвой развала советских институтов в ходе Гражданской войны.

Во Всерокомпоме не забывали, что среди инвалидов в основном были крестьяне, но помощь была настолько незначительна, что люди должны были рассчитывать в основном на себя. Так, под Москвой был организован совхоз «Архангельское», где в 1923 г. работало 26 инвалидов и 3 сезонных рабочих. Документы свидетельствуют, что уже очень рано дефицит хозяйства составил 80 тыс. руб., хотя молочная ферма ещё продолжала работать. Но уже в 1927 г., согласно обследованию, и ферма, и огород становятся нерентабельными: мороз и наводнение уничтожили урожай, коровам не хватало кормов. При этом ни слова не говорится об инвалидах – кто они такие, какова их инвалидность, как они работали, о чём думали – что говорит само за

себя (с. 62).

Возвращение с фронта либо из плена людей, не только непригодных для сражений, но в той или иной степени неспособных оказать помощь самим себе, пишет в заключение автор, могли лишь настроить против них и гражданские власти, призванные способствовать их адаптации и реабилитации, и военные власти, которые видели в них лишь помеху распространению официально насаждаемого оптимизма, и конечно собственные семьи, которые не знали, как поддержать их психологически и финансово. Благотворительные акции, в которых инвалиды время от времени принимали участие, не выводили их из изоляции, из их маргинального состояния, а полученные ими ничтожные награды слабо компенсировали их бессмысленные жертвы и ощущение несправедливости.

Опыт этих солдат, оказавшихся в тени травматических воспоминаний времён Гражданской войны и её мифологизации, осуществляемой властями, постепенно канул в Лету – несмотря на существование структур, позволявших периодически говорить об их истории на вечерах воспоминаний, организовывавшихся в избах-читальнях или в местных ячейках Осоавиахима. В 1970-х годах в деревенской глубинке ещё можно было услышать частушки о солдатах Великой войны (в приложении к статье даны тексты частушек – *Прим. реф.*). По словам автора, в русском коллективном сознании воины Первой мировой войны остались священным, но сгинувшим поколением инвалидов, лишённых будущего (с. 64).

О.Л. Александри

ПЕТРОНЕ К.
ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ

PETRONE K.
THE GREAT WAR IN RUSSIAN MEMORY.
– Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – XV, 385 p.
(Реферат)

Книга профессора университета Кентукки (США) Карен Петроне представляет собой пример новейших тенденций в зарубежной русистике, активно работающей над интеграцией истории России в мировую историографию. Автор обращается к популярной зарубежной исторической науке теме «война и память» и исследует динамику представлений о Первой мировой войне, циркулировавших в России в период 1914-1941 гг. В книге прослеживается, как память об этом событии постепенно вытеснялась на обочину советской культуры и в послевоенные годы окончательно отошла на задний план, что позволило историкам говорить сегодня о «забытой» войне. Автор не отрицает общепризнанного мнения о том, что в отличие от Западной Европы, где мифологизация «Великой войны» занимала центральное место в культуре межвоенного периода, в СССР это событие оставалось за рамками официального мифотворчества, которое было сосредоточено на Октябрьской революции и Гражданской войне. Однако же, обратившись к изучению большого корпуса литературных и изобразительных источников, К. Петроне обнаруживает огромное количество свидетельств, что позволяет ей реконструировать и исследовать советский дискурс о Первой мировой войне, во многих

отношениях вполне сопоставимый с западноевропейским (с. 6). Она отмечает, что маргинальное положение Первой мировой войны в советской культуре обусловливало наличие определенного интеллектуального и политического пространства, в котором опыт военного времени рассматривался более вариативно, а не в черно-белых тонах, как это было с Октябрьской революцией и Гражданской войной.

По словам автора, в отсутствие организующей структуры общенационального мифа память о Первой мировой войне в СССР оказалась куда более «мозаичной и неоднозначной», чем в Западной Европе. Эта неоднозначность подпитывалась и противоречивостью самой советской идеологии межвоенного периода. В частности, существовали противоречия между понятием об интернациональном братстве всех солдат-пролетариев и необходимостью развивать национально-патриотический этос для защиты советской родины (с. 14). В то же время автор не сбрасывает со счетов и тот факт, что советская идеология выработала набор «стандартных тропов» для описания и трактовки Первой мировой войны. Прежде всего, клеймились «пороки империализма», в том числе действия капиталистических держав, вынудивших царскую Россию поставлять «пушечное мясо» в обмен на их золото. Немаловажное место в описаниях Первой мировой отводилось таким клише, как жестокая муштра в царских казармах и грубое обращение офицеров с солдатами; волна патриотического энтузиазма в начале войны, за которой последовало крушение иллюзий. Наконец, увенчивал эти описания «счастливый финал» – Октябрьская революция (с. 24).

Тем не менее, замечает К. Петроне, в изложении общего хода событий лета 1914 г. существует удивительное единодушие. И западные, и эмигрантские, и советские историки при рассмотрении военных аспектов упрекают Францию в том, что для ее спасения было начато преждевременное наступление в Восточной Пруссии, возлагают вину за неудачи на некомпетентное командование, признавая при этом личную храбрость и умение воевать нижних чинов. Подчеркивают недостатки снабжения армии, нехватку вооружения и говорят о том, что общая экономическая отсталость

страны в конечном счете предопределяла все военные провалы. Кроме того, и в советском, и в западном нарративах высказывались подозрения в измене представителей двора и генералитета с немецкими фамилиями (с. 26).

Современные исследователи событий на Восточном фронте, пишет автор, корректируют пессимистические оценки современников и историков, указывая, в частности, на тот факт, что катастрофа при Танненберге вполне уравновешивалась победами над австрийцами на юге, а ужасы отступления 1915 г. дали толчок эффективной мобилизации экономических ресурсов России, в том числе организации Военно-промышленных комитетов. Корректируют они и трактовки русского патриотизма, якобы поверхностного и сошедшего на нет в течение первого года войны, предлагая значительно более нюансированный и многозначный вариант «образа врага» и фиксируя возникновение в России нового дискурса гражданства (citizenship).

Указывая на целый ряд общих черт между дореволюционным и советским военно-патриотическим дискурсом, К. Петроне подчеркивает преемственность, а не разрыв в истории России и ставит своей целью интегрировать СССР в панъевропейскую историю памяти о Первой мировой войне. Одновременно она фиксирует специфические черты, свойственные советскому варианту общеевропейского дискурса, и выявляет ряд факторов, обусловивших их возникновение.

В первых четырех главах рассматриваются темы, занимающие ключевое положение в современной западной историографии Первой мировой войны: религия, героическая маскулинность, насилие и патриотизм. Рассматривая тему религии и сверхъестественного, К.Петроне демонстрирует общность российского и западноевропейского дискурсов периода войны, когда религиозные институты и религиозная риторика играли ведущую роль в мобилизации населения всех стран. Совершившийся в годы войны «поворот к мистическому», пишет она, не мог исчезнуть сразу же с основанием атеистического государства в октябре 1917 г. Следует говорить скорее об определенной трансформации этой темы (с. 32).

На смену официальному православию, лежавшему в основе

пропаганды о «священном долге защиты царя и отечества», пришло столь же официальное атеистическое мировоззрение. Теперь религия считалась «служанкой буржуазии», однако прямые атаки на «суеверия» и «отсталость» в 1920-е годы не могли уничтожить народную религиозность, а напротив, как пишет автор, вызывали ее спонтанные всплески.

Память о Первой мировой также носила отчетливо религиозные черты, о чем свидетельствуют как практики почитания погибших мужей, сыновей, братьев, так и литературные произведения. В них рассматривались и по-разному решались серьезные философские проблемы. Автор констатирует, что религиозная терминология искупления, жертвы, воздаяния (равно как и тема бессмертия) неизбежно присутствовала в текстах пролетарских писателей.

В период революции и Гражданской войны происходила сакрализация погибших, которые «принесли себя в жертву святому делу». В таком контексте гибель миллионов солдат Первой мировой войны оказывалась бессмысленной; память и скорбь о них оттеснялась в частную сферу, где религия продолжала играть важную роль. Верующие продолжали сохранять и даже развивать религиозное мировоззрение, а представления о поле боя как о месте, где правит сверхъестественное, будь то Бог или «темные силы», демоны, ведьмы и т.п., или же «случай», наводняли воспоминания о войне.

Сохранение религиозного мышления в радикально новых условиях подчеркивает сходства между реакцией на прошедшую войну в СССР и Западной Европе, и это подтверждает выводы современной историографии о том, что преемственность лежит в основе самых интенсивных трансформаций, что межвоенный период являет собой пример сложного взаимодействия «традиционного» и «современного», пишет К. Петроне. Несмотря на усилия советского государства утвердить «современное научное» мировоззрение, изучение воспоминаний о Первой мировой войне демонстрирует, что традиционные представления и религиозная образность просачивались даже в официальные советские ритуалы, как это произошло с церемонией похорон генерала Брусилова. Советское государство, по мнению автора, достигло успехов не столько в выкорчевывании

старого, сколько в создании гибрида старого и нового (с. 74).

Обращаясь к исследованию «парадоксов гендера», К. Петроне отмечает особую уместность гендерного анализа при изучении культурной памяти о войне, поскольку образ воина представляет собой «квинтэссенцию мужественности». Все страны-участницы Первой мировой войны использовали представления об идеальной маскулинности для мобилизации мужчин на борьбу с врагом. В России, в частности, популяризировался подвиг казака Козьмы Крючкова, убившего в одиночку 11 немцев и получившего первый в этой войне георгиевский крест. Будучи прямым преемником былинных богатырей, бесстрашный казак не вполне соответствовал реалиям современной механизированной войны, в которой решающую роль играла артиллерия, и прямые столкновения с врагом происходили достаточно редко, замечает автор. В первые же недели войны «солдаты по всей Европе обнаружили, что сражения, в которых они думали доказать свою мужественность при помощи героизма, инициативы и храбрости, дегуманизируют и разрушают их» (с. 77). В катастрофе четырехлетней войны «эстетический и этический кодекс героизма» просто улетучился. Одним из распространенных тропов западноевропейской литературы о Первой мировой было признание того, что цвет молодежи погиб бесславно. В советском дискурсе также подчеркивается разрушающее воздействие тотальной войны на человека, на его душу и тело, наконец, на его мужественность.

Другой распространенный троп западноевропейской культуры – миф о военном мужском братстве офицеров и солдат – не получил поддержки в советском дискурсе, где классовая составляющая имела большое значение. В источниках крайне редко взаимоотношения солдат и офицеров описываются доброжелательно, пишет автор, и в них, как правило, подчеркивается патернализм (отец-командир), а не равенство (с. 113).

Принятые в СССР формы и способы изображения насилия, связанного с Первой мировой войной, исследуются в книге в свете современных представлений о «брутализации» политики в межвоенной Европе, произошедшей благодаря «нормализации насилия» в годы мировой бойни. Не соглашаясь с выводами о том, что

особая жестокость и равнодушие к массовой гибели людей были характерны для диктатур Южной и Восточной Европы - в отличие от западноевропейских демократий, К. Петроне упоминает об отсутствии в советском публичном дискурсе той эстетизации насилия, которую можно найти в работах Г. Д'Аннунцио и немецких писателей. Напротив, она фиксирует наличие в воспоминаниях определенной рефлексии по поводу необходимости убивать людей, сожалений о своих «бездумных и инстинктивных» действиях. Да и в официальном дискурсе жестокость трактовалась как «несоветское» качество. Акты жестокости признавались «печальной необходимостью», их можно было оправдать только реакцией (как правило, спонтанной) на действия врага или особыми обстоятельствами войны, у которой свои законы. Характерной чертой советского дискурса было приписывание жестокости «другим», как правило, классовым врагам, в особенности казакам.

В бесчеловечных обстоятельствах войны солдаты часто не были в состоянии исполнить «долг мужчины» защищать слабых – напротив, многие вынужденно или добровольно принимали участие в грабежах и насилиях по отношению к мирному населению. В советских текстах вплоть до начала Второй мировой войны отсутствует понятие о применении насилия как очищающем или мужественном акте. В описаниях войны подчеркивались ее ужасы, страдание и горе людей, физическая гибель и моральное разложение, наконец, психические травмы, полученные как солдатами на поле боя, так и мирным населением. Насилие не обязательно сопутствует героизму, скорее оно способно разрушить, а не построить мужскую идентичность, - идея, особенно часто встречающаяся в литературных произведениях. Благополучно соседствует с ней идея о священном долге защищать родину с оружием в руках, что очередной раз свидетельствует о многозначности дискурса о войне. В 1930-е годы в преддверии новой войны советские идеологи стремились всячески «подлатать» образ идеального солдата, однако в нем продолжали «зиять прорехи», возникшие в годы войн и революций, пишет К. Петроне (с. 291).

Темы гендера, этничности и класса тесно переплетаются в книге. Анализируя динамику гендерных норм, претерпевавших серьезные

изменения в годы войны, революции и последующего строительства социализма, автор отмечает, что традиционные дискурсы о низшем положении женщин и нерусских народов продолжали функционировать на лингвистическом уровне и в 1930-е годы, что оказывало воздействие и на социальную реальность. Гендерно- и национальноокрашенный дискурс использовался для обозначения иерархичности в обществе, где понятие класса играло ведущую роль. Проблема превращения «деклассированного» офицера царской армии в революционера, пишет автор, являлась специфически советской. На ее примере можно увидеть противоречия между дискурсом классовой борьбы и потребностью в эффективных офицерах, вставшей перед государством в 1930-е годы (с. 290).

В главе, посвященной теме русской национальной идентичности в дискурсе о Первой мировой войне, рассматриваются такие сюжеты, как патриотическая мобилизация и самомобилизация, случаи отказа брать в руки оружие, проблемы интернационализма, роль этничности в конструировании внешних и внутренних врагов. Во всех сражающихся странах, пишет К. Петроне, первые дни войны были отмечены всплеском эмоций, которые почти сразу же стали важной составной частью процесса национальной мобилизации и приняли форму «мифа о военном энтузиазме». На деле реальность была куда сложнее, чем миф о том, как вся нация в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. В Российской империи, как и в других странах, существовали патриоты и «интернационалисты-пораженцы», которые представляли собой зеркальное отражение друг друга. Автор отмечает, что пресловутая «отсталость» русского народа использовалась ими для объяснения как «шовинистического угара», так и «недостатка национального чувства» (с. 166).

Обращаясь к дискуссионной проблеме патриотического подъема, К. Петроне пишет о том, что в образованной среде после поражений 1915 г. угас первоначальный оптимизм относительно мистического единения русских всех классов и сословий в огне войны. Тем не менее, понятие патриотизма сохраняло свое значение для широких масс, в том числе и для самих воюющих, о чем свидетельствуют письма солдат и офицеров. Она утверждает, что националистический дискурс

продолжал свое существование на протяжении всей войны, и хотя Февральская революция вычеркнула из него монархический компонент, понятия отечества, национального духа, священной войны, русской военной доблести и личной жертвы, которой воздадут должное в памяти народа, «беспрепятственно перетекли в советскую эпоху» (с. 169).

Понятие патриотизма в 1920-е годы, пишет К. Петроне, носило исключительно сложный характер, что было вызвано прежде всего наличием крайне влиятельной интернационалистской риторики. Интернационализм и этнический национализм сосуществовали в межвоенном СССР далеко не мирным образом, продолжает она. Уже в начале 1930-х годов понятия воинской чести и героизма, обычно связывавшиеся с революцией и Гражданской войной, все чаще стали распространяться и на Первую мировую, что сигнализировало об усилении в них патриотической составляющей. Патриотизм становится необходимым атрибутом советского солдата. По мере усиления в течение 1930-х годов русоцентристского мировоззрения этнический водораздел между солдатом и врагом становится преобладающим, оттесняя на задний план понятия об интернационализме и классовой солидарности пролетариев всех стран. Польские паны, тевтонские рыцари и японские самураи описывались в конце 1930-х годов одновременно как классовые и этнические враги. Автор отмечает, что объединение класса и этничности имело фатальные последствия для многих диаспорных национальностей в СССР (с. 198).

Во второй части книги исследуются сложные обстоятельства, в которых формировался дискурс о Первой мировой войне в СССР.
По замечанию автора, она была поражена «количеством, качеством и разнообразием» подходов к теме «германской» войны в советском дискурсе, глубиной проникновения в психический и физический мир солдата, серьезностью анализа «лица войны» (с. 199). Чтобы понять, как получилось, что при наличии в СССР такой массы текстов эта тема исчезла из общественного сознания, К.Петроне обращается к изучению механизмов цензуры, фиксируя, как из переизданий тех или иных литературных произведений постепенно исчезали такие темы,

как религия, пацифизм, осуждение насилия, сексуальность, но возникали новые тропы, в том числе – указания на национальное величие России. В центре внимания автора находятся трансформации, которые привели к постепенной замене первоначально антивоенного и негероического по своему характеру дискурса о Первой мировой войне совершенно другим - «героическим, националистическим и милитаризованным» (с. 199-200).

Привлекая архивные материалы, К.Петроне анализирует пять сюжетов, которые включают в себя недолгую историю Военно-исторического музея в Москве (1923-1927); судьбу проекта Генерального штаба Красной Армии по изданию 12-томного собрания документов о Первой мировой войне; превратности репрезентаций генерала Брусилова в межвоенный период; реакцию критики и читателей на публикацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»; судьбу трех книг о Первой мировой войне, вопрос о публикации которых рассматривался в 1934 г. в связи с двадцатилетием ее начала. Речь идет о книгах «Народ на войне» Софьи Федорченко (последнее полное издание первого тома – 1923 г.), которая так и не увидела свет в 1934 г.; «По следам войны. Походные записки 1914—1917» Льва Войтоловского (в издании 1998 г. воспроизведен неполный текст 1931 г.); экспериментальной по своему характеру документальной книге-памфлете «1914» Ильи Фейнберга (при участии художника Соломона Телингартена), написанной и изданной как раз к юбилею, но более не переиздававшейся несмотря на рекомендации Союза писателей. Это исследование дает возможность показать конфликты в сфере принятия решений, выяснить роль конкретных лиц и организаций в стимулировании или, напротив, сворачивании памяти о Первой мировой войне.

Углубленный анализ «зигзагов» в формировании памяти о Первой мировой войне в СССР позволил автору прийти к выводу, что неправомерно говорить о каком-либо внезапном повороте государственной идеологии к национализму в середине 1930-х годов. «Элементы патриотической, национальной и военной мобилизации всегда присутствовали и в раннесоветском контексте», пишет К.Петроне (с. 247). Автор отмечает, что активный интерес к Первой

мировой войне со стороны государства сменился в конце 1920-х годов почти столь же активным ее неприятием. Причем маргинализация Первой мировой войны в культурной памяти не являлась результатом какого-либо диктата сверху. В процессе «забывания» принимали участие тысячи людей, победителей и проигравших, институтов и социальных групп, и процесс этот не был завершен.

Характеризуя идеологическую враждебность СССР по отношению к Первой мировой войне, К. Петроне пишет о том, что стремление государства отдавать предпочтение событиям, заложившим его основы – Октябрьской революции и Гражданской войне, а не военному поражению, совершенно естественно. Но к идеологическому антагонизму примешивались и другие факторы и исторические обстоятельства, в том числе репрессии и борьба вокруг принятия военной доктрины Красной армии. Взаимодействие многих сил вызывало «зигзаги и повороты» в отношении к Первой мировой войне в Советском Союзе. В позднесоветское время интерес к ней был спорадическим, и смена поколений ускорила процесс «забывания», начатый под идеологическим давлением в 1920-е годы (с. 292).

О.В.Большакова